

Абрам Терц

КРОШКА

ЦОРЕС





© SYNTAXIS 1980



«СИНТАКСИС»

ПАРИЖ

1980



Абрам Терц

**КРОШКА
ЦОРЕС**



Эрнста

Теодора

Амадея

Гофмана

— светлой памяти.



Я родился и воспитался вполне нормальным ребенком. Правда, мать, укачивая меня в невероятно скрипучей кровати, говаривала не однажды: "спи, спи, горе мое!.." И старалась заглушить скрипом стоны полусумасшедшей старухи-алкоголички Полины Михайловны Глинки, долго и тяжело умиравшей за нашей коммунальной стеной. У Полины Михайловны уже были пролежни, и братья Кузнецовы, зарясь на отдельную комнату, в роли опекунов переворачивали ее по вечерам с боку на бок, отчего она страшно кричала, восстанавливая дом. В результате, к четырем годам, я начал заикаться и ничем уже не мог

побороть эти спазмы в голосовых связках. Я говорил примерно так:

— М-м-м-мама, д-д-д-дай м-м-м-молочка!..

И я взмолился. К пяти годам я взмолился. Я возопил мысленно к Господу, потому что, совсем разуверившись, разучился говорить. И я сказал — если воспроизвести мои слова печатно и удобочитаемо:

— Мама! — сказал я. — Пошли мне с неба добрую фею, исполняющую желанья. Прошу изо всех сил. Фею! Фею мне — и немедленно!..

Как будто знал наперед, что наши просьбы, если очень попросишь, — рано или поздно сбываются. Мама и ума не могла приложить, почему я капризничаю.

Пришла врач-педиатр Дора Александровна.

— Чего ты плачешь, мальчик? — спросила она весело, похлопав меня по животику и осмотрев горло с помощью лампы на лбу и холодной мельхиоровой ложки, от которой меня выворачивало. Помню, ее дамская сумочка, поставленная у изголовья, отдавала духами.

— Фе-фе-фея! — едва вымолвил я.

Она засмеялась. Мне не было еще и пяти,

когда она засмеялась над неумелым обращением. И придвинула сумку, пахнувшую духами, к себе. Раскрыв, оттуда виднелись разноцветные билетки и толстые пачки денег. В ту минуту, казалось, она предлагала всё. Богатство. Власть. Славу. А если пожелаешь, — то и Дору Александровну, вместе с ее симпатичной сумочкой, которую на всякий случай она экономно захлопнула.

— Что ты хочешь, мальчик?

По болезни и малолетству я заклинился на поэзии. Ни о чем другом не мечтаю, как только чтобы речь у меня звучала бы и текла беспрепятственно, излетая изо рта правильными октавами. Жизнь, по тогдашним моим, отсталым представлениям, гнездилась исключительно в недостижимой свободе и ловкости произносить обо всем подобающие тирады. Скажешь так, скажешь этак, и — "всё в порядке, всё в порядке, Ворошилов на лошадке". Ворошилов, говорили, один, без охраны, каждый вечер выезжает проветриться на коне из своего особняка в приарбатские переулки для ночного моциона. И всё было в порядке.

Цокали копыта. Москва спокойно спала. Но складно повторить достопамятный стишок я был не в силах. О, если бы мне даровали слог и талант оратора, писателя, баснописца, я бы и не то рассказал!..

— Бу-бу-будь по-твоему, маль-ч-ч-чик.

Дора Александровна была разочарована. По побледневшим ее губам скользила улыбка.

— Че-чем зы-зы-заплатишь?

— Чем хотите, Фея!

— Лю-лю-лю...

— Любовью? Охотно!

Не зная, что такое любовь, я ею пожертвовал. Отказался от добра, от славы, от богатства. От всего прекрасного на свете. Так я продал себя, не подозревая, что делаю, дьяволу. Но взамен того я заговорил. Язык мой развязался. С той поры, как ушла Дора Александровна, пропало мое заикание.





Закончил школу, благодаря языку, с отличием. Мои сочинения: «Образ русской женщины в поэме Некрасова "Мороз красный нос"» и «За что мы любим Илью Исаковского», — гремели, удостоенные премии в Доме пионеров. За Стаймыла Студенбекова — грамота от райкома комсомола. Надо ли говорить, что Стаймылом Студенбековым я вообще зачитывался?..

Другие мои черты, однако, не возбуждали симпатии. Товарищи меня чурались. Учителя тиранили за нечищенные ботинки, волосы и ногти. Но я-то уже сознавал, что загадка не в ногтях. В нашем классе не было меня аккуратнее. Просто им почему-то пришлось не по вкусу мой скромный образ. Кривоногий, низкорослый, с вечной думой на челе, я всем

рисовался каким-то Демоном Лермонтова. Стихи мне в жизни многое открыли. Например: "Итак, она звалась Татьяной..." Прекрасно сказано! И чуть раскрою рот, если спросят на уроке, так все дивятся. Настолько параллельно и плавно двигался язык.

В общем-то я больше меланхолик. Но стоит заговорить, написать — и завтра же нам покорятся все моря и океаны. Я мог бы построить новый город в два абзаца. Эх, фея-ведьма, не зря ты мне наставила рога! Переселюсь, думаю, в рукопись на крайний случай. На бумаге я куда привлекательнее. Уж там-то меня ни в чем не заподозрят. Там, на бумаге, я чист перед людьми. Что ж, превратимся в отшельника. Будем вести молчаливые речи с книжными корешками в шкапу. Днем — жить, ночью — писать. Все настоящие вещи писались и пишутся ночью. Пускай в окне, на дворе белый-белый день...

Вечерами, бывало, поминаю Дору Александровну: "где ты, пупсик? иди ко мне!.." Не верилось, что, пока я подросток, она состарилась. Она — не из таких...

Однажды замечаю за собой, что вода из крана течет витиевато, винтом, так же как, врезаясь в сознание, торчит медный кран над раковиной, а лапидарная труба, изъеденная коррозией, дает всему происшедшему суровый сток и оттенок. Пока я умывался, столько воды утекло! А раковина все такая же — как оборванная бравада недогадливого абстрактника...

Не эстетика ли это? — спрашиваю себя в некотором смятении. — Не забвение ли объективной действительности? — И сам же отвечаю: нет, не эстетика! Вода на самом деле бежит витиевато, и с этим надо считаться. Не с поверхностью, а с жаром и планом обуреваемых вещей и явлений. Художественно не только цветут, но и сохнут и загнивают цветы, зеленеет, плесневея, раковина, дышит калорифер. Ничего нехудожественного, грубо говоря, вообще не существует.

Под этим свежим впечатлением спешу на факультет. Я тогда уже в Московском Государственном Университете учился (по-научному — в МГУ). Заскакиваю на плац у

Комаудитории, и — картина. Стоят ребята с нашего отделения и о чем-то совещаются. Независимо проталкиваюсь. ” — Здорово, — говорю, — хлопцы! ” На меня ноль внимания. Я привык уже к общему холоду, но старался не вдаваться. Все равно пером ли, словом ли — со мною не поспорят. Я книг подначитался к этому моменту. Язык подвешен. Парю и парирую на любом уровне.

— А это ты, Крошка Цорес? — отзывается Алик Цвибак, тоже немного хроменький, но со мною ладил. Подкованный. Блока и Гумилева драконил — цитатами — вдоль и поперек. ”Рождая орган из шестого чувства”, — как сейчас помню.

Необходимо объяснить, что я — карлик. Не в полном смысле, а говоря иносказательно — невысокого роста, ниже среднего. И мне бывает нестерпимо протиснуться в середину толпы. Спасибо Цвибаку — подвинулся.

И что же я слышу? Венера Милосская! — разговаривают о собаках! То есть самая разлюбезная сердцу вьется беседа между студентами. Иду на вы. Кто хвалит немецкую

овчарку, несмотря на победу над Германией, кто ставит на фокстерьера, а кто, закусив удила, выше всего превозносит уже добермана-пинчера... Свобода слова — как в Гайд-парке. И никаких космополитов. Стоим, все свои, и, как в старой Англии, рассуждаем о собаках...

— А я, — врываюсь, — товарищи, обращаю ваше внимание на уважаемую таксу, которая среди вас почему-то не присутствует. Золотая собака! Или вы забыли? не видели? Тогда поверьте мне — я знаю таксу. Художественное животное. На кривых лапках. Низенькая. Но существует объективно, и с этим надо считаться. Изящная, как ящерица. Вкрадчивая, как змея, но добрая и безоблачная. Как бы ее вам нарисовать? Вы помните, может быть, столик в стиле рококо, Людовика Шестнадцатого, на изогнутых ножках?..

Зачем это дернуло меня — встретить в чужой разговор? — я сам удивляюсь. Полгода как почти ни с кем не общался. И здрастье — такса! Наступило глубокое и неловкое молчание. Все не смотрели в мою сторону, словно я что-

то сморозил. Но разве сказал я что-нибудь отрицательное? — посудите сами. И разве нельзя, хотя бы о собаках, разговаривать на равных, по-братски, без камня за пазухой? Как если бы даже слова, дарованные Богом, были прокляты от века в моих красноречивых устах...

Дора (ее тоже звали — Дора) опустила голову. Ее личико омрачилось. Должно быть, от волнения боролась с легким, скомканным дефектом речи, совершенно несерьезным, уверяю вас, который ее только украшал в результате, словно родинка на щечке, куда мне так хотелось ее поцеловать. У женщин иногда слышится милость в самой постановке голоса, и это нас обманывает... Пианино, арфа... И Дора произнесла, растягивая музыкальную фразу, как что-то невероятно высокое:

— Всегда у тебя, Синявский, на уме какая-нибудь гадость! Вечно ты что-то выделываешь и выкручиваешь из себя! И собаку ты выбрал нарочно — извращенную. Декадентскую! Уродливую! На коротеньких ножках!..

Она чуть не плакала.

— Да сам он — такса! — гаркнул Михайлов, гигант, приударявший за Дорой и, оказалось, не напрасно. Увалень обычно. Медведь. Отвесит пиздюлей кому надо и не надо — и доволен. Он слыл на потоке первым красавцем, но по части ума был не Ломоносов. Я, например, валил его и барал запросто. Тут, однако, Михайлов взял реванш:

— Да сам он — такса!

И все зашумели, заблеяли с каким-то отмщением в сердце. ”— Смерть Синявскому!”— выкрикнул, пискнув, Алик Цвибак. А Дора, сверкая ресницами, послала своему избраннику многообещающий взгляд. Компания распалась. Будто я где-то всем круто насолил. И даже Алик, делавший мне исключение, высказался, уходя и не глядя:

— Хотя ты и прав, Синявский, в принципе, — со своей таксой, но ты хватил через край, и я не могу больше с тобой здороваться, пока ты перед всеми публично не извинишься...

Все куда-то рассосались, оставив меня одного с моими думами о Доре...

Нельзя сказать, чтобы у нас ничего не было. Она явно понимала, что нравится мне, и пользовалась моими услугами для курсовых работ, если никто не смотрит. А на меня, в один семестр, напала струя писать стихи, которые я прятал. Вот напечатаюсь в конце пути — тогда прочтут:

... Тебя любил я всей душою,
Держа не раз в своих руках!

Образы получались немного преувеличенными. Но это — как температура тела: от нас не зависит. И потом, какое сравнение у литературы с действительностью? — всё наоборот. Маешься, крутясь, как подонок, над какой-то одной невылизанной мыслью. Перекатываешь в голове шарики, пока они сами не встанут. Но, помни, каждое слово твое должно быть гвоздем, бьющим насквозь!..

А жизнь тем временем текла бесцветно. У всех людей что-то есть. Только я, как страшный "Анчар" у Пушкина, — один в пустыне. Раз я не выдержал и спросил:

— Что у тебя общего, Дора, с этим болваном Михайловым?

Впрочем, начал я, кажется, не с того, но с чего начал — сейчас не так уж важно.

— Отстань, Синявский, — она отвечает, улыбаясь, как если бы давно ждала моего предложения. — Что общего? Ничего общего. Ну переспала с ним три раза, если хочешь знать. Кто считает?..

— Что? Что ты сказала?! ”Переспала”? Как это пошло, Дора! Как унижительно!..

Нечаянно я схватил ее за руку.

— Ой, Синявский! Будь другом, не при-трагивайся ко мне! Пальцы у тебя, будто у лягушки. Липкие какие-то, противные. Подумаешь, Михайлов! Ну переспала с ним один раз — успокойся!..

Но я не успокаивался. Я-то уже знал, что таков мой жалкий жребий. Женщина, как собака, чует мертвеца и льнет к удачникам. Не висеть же у нее на ногах — балластом? Избегал встречаться, следил издалека глазами, мечтал...

Я обожаю тебя:

Ты мой кумир.

Ты не замечаешь мое ”я”,

Тяжел мне мир...

Пока эта история с таксой меня не доканала...

Вскоре Дора ушла с нашего факультета и, по слухам, расписалась с Михайловым. Говорили, была несчастлива замужем — я свечку не держал, не знаю. Одно точно: на его бы месте я сделал бы ее, мою Дору, королевой...

Как-то (я уже заканчивал вуз) мы столкнулись в гастрономе в очереди за молоком. Она была, наверное, уже на восьмом месяце, и я поинтересовался:

— Как поживаешь, Дора? Тебя можно поздравить?..

У беременных женщин, я заметил, красота лица и осмысленность линий перемещаются к центру, в то, что у них сидит внутри, и растет, и зреет для будущего. Это как большие ученые, погруженные в гипотезу о себе самом, откуда выудить их к жизни совершенно невозможно. Все они глубоко сосредоточены где-то у себя в животе. И вдруг, к моему удивлению, ее пепельные щеки зарделись, погасшие глаза метнули факел:

— Ах ты, горе мое! Крошка Цорес! —

вырвалось у нее с тем оттенком презрения, который нас особенно задевает, поскольку относится к давно прошедшему времени и ошибка непоправима. — Все ты проспал! Проворонил! Какая девушка к тебе лезла! А теперь — изволь...

Она злобно покосилась на свой высокий живот, словно это я виновник.

— Когда — лезла, — Дора?! Где?!..

— А помнишь, когда разговаривали о собаках? Я так на тебя надеялась! И ты не догадался? Ах, Синявский, Синявский...

— Но ты же сама намекала, Дора, что у тебя с Михайловым уже что-то есть...

— И ты поверил? Обрадовался? А я просто немного поддразнивала. Кокетничала. Ревность подогреть, соперничество... Может, думала, станет умнее... Да что сейчас вспоминать? Два литра!

Она звонко припечатала о мраморную стойку бидон. Покуда мы вполголоса препирались, наша очередь подвинулась. Я стоял ошеломленный, позабыв о молоке, и смотрел на Дору. Сердце перевернулось во мне, как

младенец в утробе матери. Никогда не думай, что тебе хуже других. Всегда кто-нибудь найдется, — кому еще хуже. Все мы бьем хвостом, более или менее, как рыба об лед...

— Проснитесь, гражданин! — окрысилась продавщица, вырывая прямо из рук мою стеклянную банку. Я взял один литр. А Дора уже удалялась с готовым бидоном, не дожидаясь, пока мне нальют, распугивая толпу негодующим своим животом. Бежать следом с объяснениями было бесполезно. Да и мог ли я за нею угнаться с полной до краев банкой?..





Что я причина чужих несчастий, — выяснилось не сразу. Но стоит начертить диаграмму обстоятельств, в которые, точно по нотам, попадали из-за меня, подряд, мои старшие братья, — и вы поймете. Печально, как говорится, но факт.

У мамы от первого брака было пять сыновей, один другого удачливее. А я, шестой и последний, отца своего не знал и жил на отшибе, с мамой, не ведая семейных волнений. Братья, молодец к молодцу, разлетелись по стране, я видел их редко, наездами, и судил об их успехах по красочным рассказам матери, с годами все более отдалявшейся от меня.

Начнем с младшего, Николая, который, впрочем, уже окончил мореходку и был определен капитаном сейнера, едва мне исполнилось семь лет. К его производству, весной, мы

загорали в Сочи, и брат свое назначение разгулялся отпраздновать на вверенном ему корабле, куда затянул и меня с мамой. Не стану описывать красоты Черного моря, но у причала мы подобрали щенка, к которому я привязался и, покуда взрослые пили шампанское, под звуки вальса играл с ним на палубе. На завтра брат отплывал и, выйдя прохладиться, вскинулся произвести в моряки бедного моего Бульку, как я после, от всех тайком, окрестил моего пёсика, бросив в Сочи на произвол судьбы. Раскачав, словно зайца, за ноги, он швырнул его за борт и, видимо, был упоен своей заветной звездой. "Я, — говорит, — из него сделаю морского волка!" Булька, взвизгнув, скрылся в пучине, а когда вынырнул, нахлебавшись, я не стал дожидаться, скоро ли он потонет, и прыгнул на помощь товарищу, как меня учили, солдатиком. Я неплохо плаваю, и все бы обошлось, если бы девушка, чье имя выпало у меня из памяти, невеста капитана и отличная пловчиха, с криком: "Спасите! спасите!" — не ринулась в море за нами, в чем была. Наш Николай совсем потерял голову,

должно быть уже читая свой позор в глазах девушки-невесты. Скидывает китель, хорошенько разбегаются и — бултых ласточкой следом, в высшей степени пилотажно, как потом все уверяли.

В итоге Бульку выловили, я тоже отделался легким шоком, невеста, хохоча и торжествуя, вылезла на палубу и в промокшем платье была похожа на русалку. Не выплыл, единственно, мой брат-капитан. Нырнув чересчур глубоко, прыгая, он раскрыл себе череп о якорь. Тогда мать, ломая руки, впервые произнесла:

— Ты — во всем виноват! Ты — убил брата!

Правда, так буквально она потом не повторяла. Но слово было сказано и осталось на мне — клеймом...

С той поры, что ни сделаю — все плохо. Во всем, в последнем счете, окажешься виноват. Ох, Крошка Цорес! Крошка Цорес! Как я оплакиваю тебя! А ведь и ты, наверное, как все, хотел приносить одно добро и пользу. Что же ты наделал? Зачем с тобою пришло столько горя?..

Или где-то — очень, очень давно — мы бесстыдно согрешили? И сами не понимаем, насколько виновны. Были бы не злы, не виновны, не выплыл бы из нас на поверхность — ни Гитлер, ни Сталин. Не было бы смерти. «Оглянись во гневе!» — сказал безымянный автор. И я за ним повторяю: — Оглянись во гневе, и ты оглянешься на себя!..

Второго брата мы потеряли внезапно немного по-иному, через два года, но тоже при моем косвенном и невольном пособничестве. Он работал агрономом в передовом колхозе «Рассвет» и пригласил маму провести месяц в деревне. Меня, девятилетнего, безмозглого поросенка, он всюду таскал за собой — по полям и огородам. Водил на птицеферму, где стоял у него настоящий инкубатор, вылупляющий цыплят. Шел 38-ой год, и страна, в том числе участием брата, цвела. Желая сказать приятное, я подивился на пасеке, где только что дядя Костя, хромоногий пчеловод, угощал меня сотовым медом:

— Да тут у вас уголок будущего! Утопия

Томаса Мора, да и только! Вот узнает Сталин — и тебе орден на грудь! Орден Боевого Красного Знамени, — Павел!..

Он выругался вдруг незнакомым языком, от которого меня затошнило:

— Эх, горе луковое! Что ты понимаешь? На трудодень-то сколько? Хрен целых, ноль десятых!..

Я не стал спорить, запнувшись на трудоднях. Однако колхозный воздух, мнилось, был напоен спокойствием и довольством. Пахло медом. Свежим сеном. Реяли стрекозы. Вспархивали с треском кузнечики, перебирая, упав, лошадиными ногами в траве. Палило солнце. О, лето! О, детство! О, тихие радости в себе самом!

По утрам в наш палисадник заныривала птичка и давай выводить незабываемую руладу: "Вью-повью! Вью-повью!" Чище и блаженнее звука я не встречал. Века жизни прошли с той малой пташки. Но я верю: в райском заказнике она все еще поет!..

Мы бы и не вспомнили о злосчастном эпизоде на пчельнике, когда бы в начале августа

брата не забрали по доносу дяди Кости, который в своем шалаше отлично все слышал. Возили и меня на милицейском мотоцикле. Пичкали печеньем, сулили часы в придачу, вечную авторучку с нержавеющей пером, докапываясь, о чем персонально мы сговаривались с Павлом на Сталина и как, в деталях, делились вредить хозяйству. Я плакал, я давал клятву и даже на очной ставке с хромоногим дядей Костей отвергал ругательства, которые, якобы, сгоряча не сдержал Павел. Напрасно!

— Был бы ты, Синявский, на четыре годика старше, — сказал в наущение следователь, — пошел бы махать кайлом вместе с братом. Яблочко от яблони недалеко падает. Катитесь-ка вы отсюда, с твоей матерью, подальше!..

И мы укатили. Мать причитала, что неуместной болтовней я навел Павла на кулацкую агитацию. Мне же и не снилось: кому я навредил, не питая в душе ни яда, ни кинжала? Беспомощный и затертый, как мизинец на ноге, что я смыслил в политике? Но с глаз моих спадала пелена. И высокое право, завоеван-

ное кровью, разглагольствовать обо всем, что подвернется в голову, обнаружилось, тоже несет что-то коварное и обратное. Уж лучше по такому поводу заведу-ка я себе на утеху клеенчатую тетрадь, куда и буду заносить достойные внимания факты. Быть может, над тетрадью когда-нибудь я воспряну и приду в себя...

Так Павел и сошел со сцены, и двадцать лет спустя, в реабилитацию, его не доискались. Сгинул где-то на Воркуте от аритмии сердца...

...Холодно, чорт возьми! Зажечь бы электричество. При свете теплее. Но я лежу и прислушиваюсь к проносящимся автомашинам. Ты тут, собака? Это хорошо, что ты — тут. Свернулась в темноте, под креслом, или ковриком у порога, и что-то себе жует... Уснула... И снова жует — во сне. Как все-таки украшает существование собака! Встанешь, и замашет хвостом. Пойдет плясать, кувыркаться. Подаст, без дураков, затерянный с вечера туфель. Оброненный за батарею носок...

Опять проехала с грохотом пятитонка. Я послал ей мысленное благословение вслед, слыша, что она удаляется и сюда уже не

вернется. Какую все же обузу я доставляю другим! Даже этой тяжелой, предрассветной пятитонке...

Нет, слава Богу — еще ночь. Но как ее одолеть, переваливая на другую страницу, на следующий день, о котором и помнить не хочется: опять сначала? Вам-то что — читаете! А мне отвечать, переваливая на завтра. Ночь, остановись, погоди: уже утро! Ночь, уже утро...

Погрузиться бы в сон, чтобы не испытывать лишнего. Заснешь, не успев согреться, и все еще поминаешь во сне: пальцы на ногах так и не оттаяли... Если бы можно какой-нибудь обезболивающий укол!

Ложусь с одним чувством — скорей бы провалиться в постель. Но кажется, что тьма в комнате это тени умерших, которые от меня излучаются. Слепое солнце, отбрасывающее негреющие, ночные лучи. Сколько умерло за нами! А мы всё тянем, стараемся, неся невидимый груз ушедших, но сваленных в память, продолжающих излучаться созданий. Легко сказать!

В комнате пахнет собакой, несет, что на-

зывается, псиной и успокаивает: свои. Нет ничего приятнее, признаться, сырого запаха псины. Сырого — после дождя, мелкого осеннего дождичка, когда темно, промозгло кругом, а запах согревает, дурманит, усиливаясь до почти осязаемой галлюцинации. Вопрос: откуда такое находит на меня? Весть об отце, о младенчестве? И где собака?

После кончины мамы я наводил справки у наших бывших соседей по квартире. Расспрашивал во дворе, в жакте. У старых, с до революции еще, рассыпающихся песков. Но кем был отец и что с ним случилось, так и не узнал. Еще бы — возраст. Одно известно: к нему накануне — то ли он умер, то ли уехал вдруг — месяц ровно не подходила собака. А раньше предана, как был никто, не могла расстаться. Но сколько он ласково ее ни подзывал, виляет хвостом на голос и смотрит в сторону. Пряталась под стол, под кровать, забивалась в угол или жалась к ногам хозяйки, хотя та по природе была равнодушна к животным, а эту держала в доме скрепя сердце, в виде уступки отцу. Словом, она испытывала странную к

нему неприязнь. Либо, почуяв недоброе, стоявшее у того за спиной, избегала и боялась. Впрочем, кажется, без него она скоро околела. Ни отца, ни собаки я уже не застал. Да, возможно, меня еще и не было на свете, когда они оба исчезли...

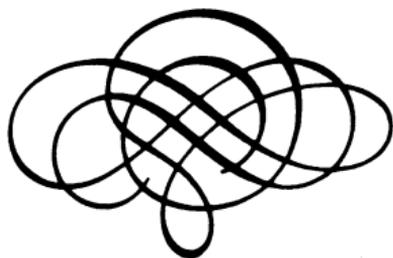
Каждый раз на отце я как-то спотыкаюсь. Иду, иду и — запнусь. Мне было бы легче, имей об отце я хоть малейшее представление. Пусть, думаю, он был бы страшным развратником, пропойцей, разбойником, врагом народа. Да хоть самым дьяволом. По крайней мере было бы ясно: где корень. Но дьявола нет, а есть — я. Случаются, наверное, дети, рожденные для греха, специально, от кого исходит неведомое зло по земле, внушая всем ответное отвращение. Я — из тех. Не то, чтобы плохой человек, а — нехристь, нечисть... Но, может, и мне с годами отпустится щепотка грехов за то, что, ничего не утаивая, я все пытаюсь записать? За какую-нибудь фразу, прекрасно сказанную, за одну заблудшую ненароком строку...

Наконец-то ноги согрелись и я уснул,

сознавая, что назавтра от меня останется на кровати много-много беспомощных, ни к чему не ведущих листочков... Очки влипали в лоб, но я себя не помнил и заносил вслепую, во сне, что скоро утро и ночь уходит, уходит из-под ног. Меня терзают и сковывают оставшиеся минуты свободы, после которых, едва рассветет, я не смогу, не имею права, ни слова сказать больше, наподобие привидения, что с пением петуха внезапно смолкает и проваливается под камень. Но я еще живой и пишу...

О чем? О том, что деревья во дворе, наверное, уже потемнели на фоне побледневших небес, по которым в одном направлении мчатся неслышно чернильные облака-дирижабли. Труба на краю стены стоит, как самоубийца, готовый кинуться вниз, — высокая и стройная. Еще минута, секунда — и зачирикают птицы. Кажется, сквозь сон я различаю уже первые, пробные трели. Вью-повью! Значит, им — за работу, мне — на погост. Смена пришла! Смена! Утлые туфли на полу вырисовываются отрешенно, будто темные ступни моих отрубленных ног. Рубаха свисает с кресла без-

вольным, обезглавленным телом. А кресло свернулось в позе уснувшего калачиком, сидя в кресле, человека. Собаки нет. Не успею. Асфальт. Беги. Светает, и в случае чего не докличешься, не дозвонишься. Пустая, белая улица, и сам я застываю в какую-то абстрактную, на углу, скульптуру...





После ареста Павла закрепиться в жизни помогло нам покровительство третьего брата, Василия. Перевесили чин и должность начальника погранзаставы. А вскоре, к нашему счастью, разразилась Великая Отечественная война, на которой Василий еще более прославился. И думал ли я когда-нибудь, что приложу руку к его беспричинной гибели?! Нет, не думал. А было так...

Брат возвращался на фронт с Урала, из спецкомандировки по формированию запаса, кроме законного отпуска имея резерв времени, и по дороге завернул к нам с мамой, в эвакуацию. Стояла январская ночь, когда он ввалился, полковник, с двумя чемоданами, с ординарцем в сенях, отряхивая снег с папахи,

громко топая, никого не страшась, и мы повскакали с лавок.

— А тебя еще не пришибли, заморыш?! — кричал Василий, подбрасывая меня к потолку, несмотря на мои четырнадцать. — Ешь больше -- вырастешь! Хочешь я тебе Москву покажу?..

От него по избе, как от медведя в можжевельнике, шел огненный дух на всех нас, на него глазевших. Как он ухал утром и крикал над рукомойником, охлопывая себя по бокам и по лопаткам! И занял собою всю нашу половину избы, так что евреи из Гомеля, другие эвакуированные, полгода после боялись нас и робели воровать наши с мамой, из общего сарая, дрова.

А пробыл-то всего ничего, неполные трое суток, в шипре, в портупее, с пистолетом в кобуре, к которому строго-настрога заказал мне пристраиваться. Не считая ординарца, спавшего на печи и бегавшего по девкам, — весь в ваксе, в водке, смеясь до изнеможения. Мы наслаждались обществом брата, но — недолго.

Мама ушла на учительское собрание, — она вела родной язык на селе, а я, старшеклассник, как водится, торчал одиноко в городе, сбегая с уроков, к ней под крыло, под любым предлогом, — когда на третий день, к вечеру, на одичалом скакуне настиг меня и поймал за шапку рассыльный из сельсовета, и, свешиваясь, всучил телеграмму.

— Кому?! — догадался я крикнуть в снежное бушевание.

— Полковнику! — донеслось из ночи. — Самому! Срочно! Из города!..

— Тебе телефонограмма, Василий, — объявил я, не глядя, переступая порог.

Брат брился и, закончив бритье, прыскал на себя шипром.

— Читай!

На голубом квиточке, дырявым, по-деревенски, пером, было нацарапано четыре слова, которые я и прочел:

— «Срочно явиться в часть».

— Подпись?! — грозно спросил Василий.

— Никакой подписи, — прочитал я.

И тут он начал собираться по команде,

надел пистолет, папаху, кликнул парня, спавшего на печи после вчерашних походов, чмокнул в щеку.

— Передай матери — вызывают. Пока! Не поминайте лихом...

Человек рассеивается, как пар, как запах папиросы в какой-нибудь привокзальной уборной. Зайдешь и — кто-то был только что и весь вышел, недостижимый уже, эфемерный... В пустой избе я сижу один и вдыхаю при керосиновой лампе все, что после нас остается от человека, — запах ваксы, водки, одеколona, чистого, зимнего полковничьего белья... Верчу бланк в руке. На обороте — выведено вверх ногами, каракулями: «Синявскому. — Завуч средней школы»... Сам завуч?! Что за притча?..

Мне еще никто и никогда не присылал телеграммы. Ни писем, ни почтовых открыток. И, наверное, простительно, что я рассмеялся: «Синявскому»?! Словно я какой-нибудь Лев Толстой или Панферов... Ага, догадываюсь, завуч, инвалид войны, мнит себя комиссаром. Вызывает — «в часть», не иначе... Что они —

чокнулись, что ли? Правда, я пропускаю школу, засидевшись у мамы в селе. Брат приехал Полковник. С фронта. Успеваемость у меня все равно на Доске почета. А Вася?.. Тоже — вызывают? Срочно явиться!.. При чем тут Вася? Вася, слава Богу, — не мальчик. Какой ему к чорту — завуч? У него и фамилия-то не моя. По первому отцу: *Лихошерст!* Все братья у меня — Лихошерсты. И мама...

Все это медленно-медленно добирается до сознания, застывая в жилах: телеграмма — Синявскому. Мне... Да, я — Синявский! Я — Синявский! Но мчится-то на фронт, на смерть — Вася Лихошерст!..

С ним, с Василием, впервые в жизни, мы с мамой жили при здоровом мужике. Храпел по ночам на пару с ординарцем. Гаркал, брился, вонял, шутил — на всю половину избы. И все было приятно. Потому что — брат, полковник! Тогда я понял впервые, что значит овдоветь и почему воют бабы по пропавшим мужикам, получив из военкомата повестку, делая эпос из личной лирики. По деревням тогда стон стоял, а мы пировали три дня, у Христа за пазухой,

и не уберегли Васю...

Дико воя, проваливаясь по пояс в сугроб, я выкатился из избы. Да где ж мне было нагнать его, по росчерку пера умчавшегося на лошадях Лихошерста! Я бежал до станции двенадцать километров, в надежде дождется поезда, а потом еще двадцать четыре — до нового аэродрома. А снег-от выпал в ту зиму — не пройти не проехать, до неба — вона какой! Да сдуру я сбился с пути, попав в буран, и припелся наугад, полем, в полдень к самолету, который улетел в полночь.

Так я еще никогда не задыхался. Круги вокруг меня сужались и сужались. А самолет все лез и лез тем временем, карабкаясь по небесным ступенькам, и ужасно, безнадежно жужжал. По глянцу в снегу, я видел на экране, как брат мой, пока я чухаюсь, пересаживается с веселых, навозных розвальней на полуголый грузовик, с грузовика — на бомбардировщик и летит на передовую позицию, раньше чем я, проваливаясь, доползаю до вокзала. И в первый же день, прилетев, берет на себя ответственность, с пистолетом в руке подымает, по

сугробам, в атаку свой раскромсанный батальон и падает смертью храбрых, в первый же день, под Минском, под Гомелем, под Нарвой, всё дальше и дальше на запад, но он падает и падает в снег, что я ему и подстроил, по пояс, не поспевая к самолету.

А мог бы, кажется, замедлив отъезд, пофорсить еще неделю-другую тыловых-отпускных, когда бы не моя телеграмма. И жил бы сейчас с нами, всем на радость, Васька Лихошерст. Если бы не я, не Синявский!

Из всех преступлений, из всех убийств, которые мне приписывают, эту смерть я беру на себя. Да, действительно, я подставил брата под пулю. А все торопишься, торопишься...

...Мы дошли до черты, до четвертого брата, и я отступаю в смятении. Неужели и четвертого мне суждено погубить? Нет, после всех передраг я старался с ним не встречаться, дал зарок, завязал черным узлом. Совершеннолетний тем более, да и что я у него потерял? Звали его Яков, но хотелось громче, по отчеству, или совсем уже триумфально, как все величали Якова в глаза и за глаза: Доктор

Лихошерст! С виду неказистый — одни нервы. Расплывшиеся белки с мелкой червоточинкой в центре, под невозможно толстыми стеклами в американской оправе. На тонких губах вечно сардоническая улыбочка, «Редьярд Киплинг», «Оскар Уайльд», «Верлэн», «Верлибр»: любил греметь заграничной валютой...

Мне лично Яков не нравился: "я", "я", и все знает, везде превзошел. К тридцати успел облысеть и женился трижды, не считая медсестер, ассистенток, которых у него под рукой было, как в Бахчисарайском фонтане. А что вы хотите? — Главный хирург больницы имени Боткина!.. Но вот что интересно: ко мне, бастарду, каким я вырастал, вероятно, в его очкастых глазах, он испытывал тайную слабость или скрытое любопытство и всегда старался ввязать в щекотливый разговор о каких-нибудь изысканных книгах, по тем временам криминальных, про которые от него мне и слышать не хотелось, чтобы не навлечь по оплошности какое-нибудь новое зло. Попадешься ему на удочку, и выйдет у нас опять

совершенно не тот «Мой-до-дыр». Меня связывало с ним единственно, что в среднем раз в месяц я бегал к нему в Боткинскую за рецептами валидола, когда у мамы повторялись сердечные кризы и приступы. О маме, однако, он почему-то не справлялся. Морщился небрежно: пройдет! Не исключено, у них были какие-то свои счеты. Мое дело сторона. И, не впутываясь в беду, я положил за правило в краткие наши свидания употреблять максимум два слова "да" или "нет". Эдак оно спокойнее — не затягивает в беседу. Взял рецепт и долой. Он так и прозвал меня, передразнивая: «Да-или-Нет»...

— Добро пожаловать, Да-или-Нет! — кричал он еще с лестницы, в белом халате, ощерившись, словно метил меня и вытаскивал, как занозу, своим провокационным пинцетом. — Сестра, пропустите молодого человека. Не здесь же, не в этом Бедламе дискуссировать нам, о чем говорил Заратустра и что думал о природе души Григорий Сковорода? Да-или-нет! Быстро: да или нет?..

— Да, — я отвечал, но не шел дальше при-

емной. Меня волновала его манера беседовать со мною на "вы", в соединении с сарказмами. Возможно, и он где-то меня побаивался и поэтому паясничал. А может, просто хотел разобраться, что я за зверь, и выщупывал и зондировал с присущим хирургу искусством.

— Что! Снова за валидолом?

— Да.

— А в гости ко мне не зайдете? У меня окно в консилиуме...

— Нет.

— Все некогда? Понимаю. Экзамены. Семинары. Курсовые работы... О чем у вас курсовая?

— Стаймыл Студенбеков, — произносил я как можно тверже пересохшими губами, стараясь не упасть.

— Стаймыл? Студен-беков? Это еще что за пугало? Да вы бы лучше... Рекомендую...

И он начинал перечислять писателей, от чьих незнакомых имен у меня дух захватывало и бежали по коже мурашки. О, нет, не за себя — за него я дрожал... А Яков, искушая, заманивал на операцию какой-нибудь сверхъ-

естественной опухоли мозга или удивительной кисты, под видом студента-медика, что было, конечно, нарушением закона и плохо бы для него кончилось. Или, подмигивая, зазывал одним глазком пройтись в анатомичку... Его глаза под стеклами, казалось, сами плавают в каком-то хлороформе. Тогда, во избежание риска, я коротко объявлял, что мне пора...

Но, видно, его фатум был написан у меня на лбу. И я лежал без сознания с острой формой перитонита, когда он, поставив на ноги всю профессию, сам, как лучший хирург, взял скальпель. Плачущие сестры на другой день поведали мне под секретом, что у Доктора Лихошерста впервые тряслись руки, пока он оперировал. Боялся, видать, резать прямо на столе. У меня же, как выяснилось при вскрытии, не было ничего острого, и Яков перебрал по очкам. Выйдя из операционной, шваркнул, говорят, о кафельный пол перчатки. Потребовал сигарету и стакан чистого спирта, хотя прежде не курил и не притрагивался к спиртному. «Да или нет», «да или нет», — шептали его уста, и все думали, что

это он продолжает сомневаться в диагнозе. Но я-то знаю, с кем он тогда спорил, кого вызывал, так и не поговорив по-настоящему ни разу. Здесь же, при всей медицине, позабывшей ему дать валидол, Яков грузно сел в кресло и скончался от инфаркта. Наверное, ему помешало, что по его врачебной вине меня уже не стало. Я его понимаю.





Мне нужно передохнуть, чтобы, собравшись с мыслями по выходе из больницы, перейти к пятому брату. В тот год у меня с мамой произошел раскол. Прямо она не сказала, но читалось в глазах, что ей физически тяжело находиться со мною рядом. К тому же я готовил диплом и, просиживая штаны в публичной библиотеке, старался как можно реже показываться дома, чтобы собственным видом дополнительно ее не травмировать. И само собой повелось, что в наших невозвратных утратах ее все больше и больше отвлекали от меня новые заботы — бабушки, появившиеся в семье старшего сына — Владимира. У того подрастали замечательные двойняшки, мальчик и девочка. Короче, она объявила, что переезжает к нему ходить за внуками.

Я не оспаривал ее права нянчиться с внучатами и облизывать счастливого первенца, но меня грубо кольнуло, когда мама неожиданно обратилась ко мне по фамилии, притом с какой-то враждебной и предвзятой нотой в голосе, словно я — чужой:

— Ты, Синявский, уже не маленький. Имей совесть. Учись — один. И тебе, и мне будет лучше...

Первый раз она заговорила со мной так официально, как если бы навсегда отсекала от себя. И тут я не выдержал и тоже напрямую спросил, кто мой отец. Раньше, догадываясь, что это ей неприятно, я вежливо обходил скользкий вопрос молчанием. Но тут заело. По паспорту, среди Лихошерстов, один я — Синявский! Откуда? Почему? Обреченный на одиночество в доме, я хотел для компенсации иметь, наконец, ясность.

— Не твое дело! О таких вещах не спрашивают! Пишешь свои дневники-черновики? — ну и пиши-помалкивай. А ко мне не прикасайся! Хватит с меня !..

Я настаивал. Мне казалось, источник наших

с мамой несчастий и разногласий скрывается где-то во тьме моего происхождения.

— Буду умирать — скажу! Потерпи: уже скоро!

Как если бы я хотел ее смерти. Я вспылел. Было видно по всему, что она меня уже несколько не любит. В итоге, поспорив, мы расстались взаимно обиженными. Мама наотрез отказалась, чтобы я провожал ее по семейному каналу. За нею, в мое отсутствие, заехал налегке персональный шофер Лихошерстов, и, вернувшись из читалки, я уже никого не застал. На обеденном столе, как водится, — записка. Просит с материнской настойчивостью не беспокоить по телефону Володю, не отрывать понапрасну человека государственной важности. Сама заглянет, как будет случай. Деньги за свет-газ, жировку, ужин оставляет на столе. И подписано: *Мама*, — нормальными, круглыми буквами. Последний с мамой ужин...

Снова и снова я продолжаю с ней мысленный мой диалог. Сдался мне дядя Володя! — как без надобности, себе в утешение, называл

я старшего брата. Настолько он был далек от моих внутренних интересов и помыслов и абсолютно недоступен. Я даже толком не помнил, какой у него пост. Знаю, что государственный, а вся его биография мне, как, извините, пятая нога. Подкидывает матери к пенсии копейку, и то крендель. Холодильник ей выкатил на какие-то именины — от собственного достоинства. Выбрасывал на свалку, невооруженному глазу понятно, трофейное барахло после наезда в Африку, для подъема экономики, себе же в обновление мебели... — да мне какая забота? подавись он своим холодильником! Автомобилист!.. Вообще, я думаю, в нынешнем упадке искусства виноваты автомашины. Разве, сидя за рулем, почувствуешь душу ближнего? Внимание отдано скорости, виражам, карбюратору. Пожиранию пространства. Никакой прокурор его не остановит... Но холодильники, отдадим справедливость, в тот период были у нас в новинку. Музейная редкость. Реликвия...

Словом, дядю Володю я воспринимал в основном по любительским фотоснимкам и

газетным выкройкам, хранившимся у матери в ящике, как национальное достояние. Лица его так и не разобрал. Обыкновенный богдыхан. Скулы сапогами и нос луковицей, тугой воротничок, из которого он выдавливался, по заданию партии, как зубная паста, с насупленным всегда, недоступным, без тени понимания взглядом из-под обязательного лба. Такие лица рисуют, вместо меморандума, на правительственных картинах: ни грана мысли!..

Он тоже видел меня, в общей сложности, раз или два, в вечной спешке, — на маминых именинах однажды и на поминках по Якову, куда нагрянул, по личной инициативе, почтить брата вставанием. Ясно, он и думать позабыл о существовании такого таракана, как я. А мог бы, между прочим, когда-нибудь и пригласить на пирог в свои хоромы. С него бы не убыло. Вот уж кому-кому, а нашему князю Владимиру, при всем желании, я нигде не угрожал.

Чем далее, однако, затягивалось мое заточение, тем глубже сосала мысль о моей неисповедимой судьбе. Я старался лишний раз

не высовываться из дому, не пересекаться, сколько возможно, с себеподобными. Проехать на трамвае уже было для меня большой роскошью. Законно: кому я принес хоть какое-нибудь добро? Никогда и никому. И мир без меня улучшился бы — не будь моего вмешательства, не будь моего тайного к нему участия и сострадания, работающих как жало. Профилактика? Прививка вины человечеству, которое только и знает, что оправдывает себя? Чем хотите, но каждый из нас мечтает оправдаться — трудами, детьми, книгами. А как посмотришь на человека в итоге — перед смертью он остается ни с чем. С одним только страхом в душе и с единственной надеждой — на милость: согрешил...

Оправдываемся, стараемся, а зло, сотворенное нами, все растет и растет. Не лучше ли покаяться с самого начала? Сказать честно, глядя правде в глаза: хуже себя я людей не встречал. Не появится ли тогда, как маяк, искомый "грех во спасение", над которым столько смеялись? Не начнется ли восхождение к свету? Ну бросьте, говорю, в меня пер-

вого камень: переделку общества надо начинать с себя. И я стану переделываться, подавая всему человечеству заразительный пример. С самим собой легче иметь отношения. Приятнее. Безопаснее. Знаешь, по крайней мере, кто ты и почему... Откуда? — вопрошаю. — Кто? В чем я виновен? Да, может, я не хуже, а лучше других? И думаю, себя понося: а все-таки я страшно добрый и жутко умный... Как еще Господь меня на земле терпит? И если я всем не нравлюсь, то, может быть, зато я угоден одному Богу? Нет, таких, как я, надо давить автомобилем...

Как видите, угрызения совести меня мало терзали. Наверное, это уж такое свойство у совести. Она тоже приспособливается к нашему самочувствию и печальному положению в обществе. Из всего на свете мы умеем извлекать капитал...

Терзало другое — безвыходность моей ситуации. Уж ладно, Бог с ними, с моими братьями, которым я, как черная кошка, перебежал дорогу. Я же этого не хотел! Содеянное нами откатывается назад и, вылившись в грозную

исповедь, сулит успокоение, что прошлое не вернется. В противном обороте мы просто не вынесли бы накопленных по мелочам беззаконий. Мы бы обуглились при жизни. Но что мне делать, скажите, если не в прошлом, а наперед известно: все, что я совершу, сочиню, подумаю — все будет неправильно и не так, как надо. И меня уличат, обвинят! Пойдет ли это на пользу писательству вроде моего, поперек развитию? Возможно, только поэтому я и пишу — в расчете, что еще и еще кому-то перейду дорогу. Хорошо. А жить как прикажете, когда я сам понимаю, что с подобным существом лучше не встречаться? И маму понимаю: она не виновата, что я у нее не тот.

Помню, в раннем детстве, в пионерском лагере, только один сверстник потянулся подружиться со мной, и мы с Вадимом как-то быстренько сошлись и обрели общий язык. Читали вместе, играли в мяч. Это был стройнобедрый подросток и прекрасный пионер, каких уже сейчас не бывает, чем-то навсегда опечаленный. И я был на небе, когда в конце, расставаясь, он протянул мне телефон и до-

машный адрес в Москве для продолжения знакомства. Трубил горнист, созывали костер на спортплощадке, бузили, орали, цапали девчонок постарше за нескромные места, а мы с Вадимом, в стороне от суеты, стояли под одинокими звездами, осененные ночной красотой, и радостно держались за руки. Тут-то он возьми и повинись, на прощание, в немощной тоске, которая его снедала, отчего он, должно быть, и влекся ко мне бессознательно, как к товарищу по несчастью. Прошлой зимой, играя дома в духовое ружье, он нечаянно застрелил четырехлетнюю сестренку. — Но ты же нечаянно, нечаянно?!” — бормотал я в полной растерянности, не зная, как справиться с внезапным опустошением в сердце, и чувствуя, что все потеряно и никакой дружбы больше между нами не будет. А он уже убегал, громко плача, и расплывался пятнами, по кустам, светло-желтой своей футболкой, выдернув кисть руки из моих отсыревших пальцев — они разжались. — Я звякну тебе немедленно, как приеду, Вадим!” — пообещал я клятвенно в воздух, прекрасно уже сознавая,

что ни за что и никогда я ему не позвоню.

А ведь на мне самом к этому моменту, вы помните, уже висели две жертвы — Николай и Павел. И все же, при всей широте и собственной отверженности, я не мог переступить черты, отделившей меня от единственного Вадима, — через застреленную им, по нелепости, четырехлетнюю сестренку. Я предал его трусливо, гадливо. Что же спрашивать с других?..

В моем архиве накопилось этих самых эпизодов, бессмысленных и безвыходных, — хоть устраивай демонстрацию протеста перед Страшным Судом. Когда-нибудь я все это опишу более подробно. А сейчас предам гласности два факта, не имеющие пока что ко мне прямого отношения.

Первый эпизод — сельский. Ребенок, лет пяти, каких много, лукнул камушком в петуха, зашедшего на огород от соседки, и угодил в маковку, намертво. Бабка, хозяйка петуха, думая застращать сорванца, ни больше ни меньше, сунула его в хлев, к своей свинье. Возвращается отец. Бабка ему докладывает. Отпирают хлевушок — наказать, а того уже

чушка докусывает. Отец побежал, разыскал топор и зарубил старуху.

Другого мальчонку, в городе, мать послала в продмаг с десяткой. Семья была бедная, и десять рублей большие деньги. Является ни с чем — потерял. Та гладила белье и, не глядя, в сердцах, швырнула щеткой. Захныкал, заблажил, ушел в боковушку и под дверью затаился. Она гладит. Возвращается отец. Где Вовка? Да он, такой сякой... Смотрят — Вовка мертвый. В висок. Отец говорит: пойду в милицию, надо составить протокол. Приходит с милицией — она висит.

Я бьюсь об стены, слыша подобные речи, и не нахожу ответа. Во всё, абсолютно во всё замешана мелочь, глупость, какая-то ошибка природы, незримая крошка-цорес. Щетка. Камушек. Замкнутый круг. Но там хотя бы злые силы руководили движением сердца. В моем же случае — одно добро. Стыдно сказать, но я желаю одного добра людям. Лезу вон из кожи. Но всё напротив!

Я понимаю: то, что я пишу и говорю, — безумие. Но какая-то ненормальность вкралась

в действительность. Вывихнутость какая-то. Живешь и всего боишься. Сидеть бы мне, думаю, тихим сумасшедшим на своей сумасшедшей койке и беззвучно смеяться...

Ведь бывают же совпадения! Хочу помочь слепому старику перейти улицу, беру под руку с осторожностью, а он, как нарочно, падает и ломает палку, либо разбивает очки, и сам же первый на меня с претензией. Зачем связался? Не лучше ли обойти слепого стороной, пока не поздно?.. Милостыню подашь нищенке, и немедленно твоя доброта переполняет чашу терпения скучающего на углу постового, и тот волочет бродяжку на изъятие денежных ценностей, по указу о борьбе с попрошайничеством и тунеядством.

Бывало, отчаявшись, я пробовал для проверки совершать дурные поступки. Как-то, помню, мимоходом пнул ногой валявшегося на тротуаре пьяницу. И вы знаете — ничего, пронесло. Встал, качаясь, и уплыл восвояси, будто так и надо, даже не заругавшись. И кто-то из народа одобрил и поддержал смелое начинание. Давно пора! Пускай не засирают

столицу на глазах у дипломатов. А потом, товарищ, ты избавил бедолагу от верного ограбления при спянье на мостовой. И, может быть, от воспаления почек...

Меня все эти доводы слабо утешали. Ведь еще не известно, куда пойдет и чем кончит поднятый твоим пинком человек. Да и зло в чистом виде нас не интересуется, не радует. Зло лишь побочный продукт чаемого нами добра...

С перетыку я начал курить. И курил так много, что мои легкие под рентгеном, наверное, скоро сделались похожими на мое черное пальто. С другой стороны, по традиции, решил завести собаку. Просто взять и приютить какую-нибудь заблудшую к нам на помойку овцу. Бывают же экземпляры! Мне верилось, она скрасит мои воспоминания...

Собака, по-моему, ближе к людям, сравнительно с другими животными. Уже по одному тому, что чувствует юмор. Ни кошки, ни лошади на такое не способны. Одна собака, если ее рассмотреть, обмахивается хвостом, ровно опахалом. Сквозь слезы, но смеется. Видите — на боку, на полу: вильнула! Значит,

ей что-то привиделось, пригрезилось. Значит, она сочинительница, она писательница, собачка, как все, как мы с вами. Повизгивает во сне. Всклипывает. Всем тяжело — и мне, и зверю. «Зверь» — для нее, применительно к собаке, — женского рода. При ней, при звере, я как-то встряхиваюсь и приподнимаюсь на ноги, — с такими большими и торчащими врозь ушами. Большими и подвижными, как крылья бабочки.

А если, зададимся вопросом, она досталась от отца? Сама нашла? По запаху? И приперлась на помойку. По наследству. Не стареет. Собака Врага Народа обязана, в конце концов, дожидаться хозяина... И я уже предвкушал, как опустошенным стариком, лет за шестьдесят, свистну ее пройтись поздно ночью, перед сном, размышляя про себя, что в общем-то все кончено, подведено и одно остается — это вывести собаку и пройтись немного по охладевшим переулкам. Замерла и смотрит, на четырех ногах, как я на своих на двоих еле-еле плетусь. Сверкнула зрачками, ждет.

Благодарна, что, сняв шинель с вешалки, я вышел с ней и пошел. Маленькая, а все понимает... Ветер. Освобождение. Дождик накрапывает. Лужи под ногами, булыжник. А мы идем и идем — я и собака: пейзаж...

Или, представляю, — весна, и собака забрюхатит. Неопытная, молодая еще, и полезет на руки от страха, на разобранную постель. И мне самому боязно: никогда не принимал. Но она дрожит, прижимается с доверием, просит, а щенята как поползут, как поползут из брюха, один за другим. Я ее глажу, уговариваю: "не бойся! давай-давай, работай! ты со мною!.." А они всё вываливаются и вываливаются, как из мешка, привязанные на какой-то веревочке, мокренькие, голые, и я с трудом припоминаю: « пуповина », « ножницы ». Нашариваю, начинаю перерезать, и она мне помогает зубами, скуля, опоражниваясь пятым, то ли шестым и окончательным кульком. И я думаю, принимая щенят у моей собаки: точно так же, вы увидите, мы будем умирать, выбрасываясь из себя, дрожа и обмирая от страха. И сам Господь Бог в то мгновение, когда мы ста-

нем карабкаться, приютит нас на кровати. Скажет: "давай-давай! не бойся! ничего не бойся!.." И погладит — на кровати...

Я пишу о собаке вместо того, чтобы писать о самом себе. Но так — невиннее. Собака, восклицаю, ты отныне отвечаешь за меня! Ты одна, собака! И я был псом при моих братьях. Служил, прятался, лгал — ничего не помогло...

Собака — разговаривала. Я дал ей кусочек сахара. Взяла. Схрумкала, облизнулась. Хотел погладить, потрепать по ушам в рассуждении, какую достойную кличку ей сочинить, и вдруг она — впилась... Не то чтобы очень больно, но с нескрываемой яростью, что было вдвойне обиднее. Тем более, что я не боюсь и не презираю собак. Если бы я отдернулся, испугался. Так нет — протянул руку... Дура!

— Ладно, — сказал я, перевязывая палец. — Дали сахар, а ты — кусаться? Живи, как хочешь, на кухне. Тебе же хуже. Можешь ко мне теперь и близко не подходить!

В ответ она показала зубы. Мелкие, как показывает покойник в гробу. А что если, пронеслось в голове, проклятая собака что-то

знает? Что если она чувствует, с кем имеет дело? Распознала? Воспользовалась? Не суйся, повторяю себе, с добрыми намерениями. Живи один, как учила мама. Когда ты только-только к кому-нибудь приближаешься, исполненный признательности и всего самого хорошего и светлого, что в тебе еще остается, то помни, что ты несешь. Мы отделены стеклянной стенкой от смерти. Спросите закоренелых убийц, если мне не верите. И большая часть преступлений, вам скажут, совершается не со зла, вне замысла, но так уж получилось по стечению обстоятельств. Нежелательно. Без усилий. Так тонок череп встречного человека. Еще прозрачнее висок. Ударь, и ты узнаешь. Это станет проклятием для тебя. Ты спохватишься: "не хотел!" А! ты не хотел? тогда зачем приблизился, зачем прикоснулся к стеклу, отделяющему нас от действительности? Авель, Авель! где брат твой, Каин?..

Поставьте человеку преграду, и он ее перейдет. Что за блажь, какого рожна в день маминых именин я отправился без звонка в резиденцию дяди Володи? Думал поздравить с

Ангелом, искупить вину. А ее драгоценного сына могу и не беспокоить. Мне было главное с мамой повидаться. Извиниться за дерзости, перемолвиться, в конце концов, словом...

Тот возле кино, в Доме Правительства, занимал пятый этаж. Министр, а то и выше берите. Сатрап! Но, бьюсь об заклад, в душе он питал себя простым и демократичным, как все громкие птицы его ранга... В роскошном холле, естественно, в меня вцепилась дежурная, чистый богатырь. Пилотка, полувоенный жакет, без погон однако, в лодочках, в чулках на высокую ногу, как если бы ничего особенного. — Вам куда? По какому адресу?..” И смотрит — насквозь!..

Я ей доходил до солнечного сплетения, до пуговицы на жакете, и то — встав на носки. Но это меня не смутило. Когда нам весело, а я был в бодром, приподнятом настроении от близкой встречи с мамой, с братом, мы делаемся беспечными.

— К Лихошерсту! Пятый этаж!

— А кто вы ему будете ?

Форменный допрос.

— Родственник я. Понимаете? — брат! Мама тут у меня бабушкой работает, няней при ихней двойне. Может, видали?..

Паспорт затребовать она все же постеснялась. А то вышел бы диссонанс. Иди объясняй: почему я Синявский?.. Взлетаю в лифте. Звоню. За панелью, вместо звонка, раздается приятная музыка, как при входе в эрмитаж. Там ждут вас пальмы и ласки пэри. Большая площадка на этаже, смотрю, вся в шашечку, — на одного съемщика. Цветок в горшочке на витом железном подсвечнике. Недостает водоема с павлином. Впрочем, и водоем, и павлин, вполне правдоподобно, скрывались внутри замка. Еще раз, бестрепетно, нажимаю кнопку: поет...

Открывает мама, в стареньком нашем китайском халатике со львами, и не успел я ее поздравить с днем Ангела, идет ко мне по площадке, тихонько притворив за собою высокую дубовую дверь. Без улыбки и без кровинки в лице, мама шла на меня, то ли желая обнять, то ли предупредить о чем-то срочном втайне от хозяев. В ее глазах стоял ужас, будто

она видит призрак.

— Уходи! уходи! Сейчас же, не теряя минуты времени! — шептала она, растопырив крылья японского своего кимоно, подобно клушке, идущей на ястреба, защищающей цыплят. — Зачем пришел? Пожалей... Прикончил четырех? Хватит с тебя. Не тронь пятого. Последнего! Не губи малюток!..

Мама надвигалась, а я отступал, медленно, со ступеньки на ступеньку, прикинув ребром к перилам, пока, под палящим ее взглядом, не сверзился вниз, в бездну, полпролета за прыжок, и не очнулся через час уже у себя дома...





Собака при моем появлении и не подумала шевельнуться. Знает кошка, чье сало съела. Ну иди сюда, предательница! — другого тебе названия нет. Изменница! Приживалка! Позорное животное, отталкивающее клыками дружественную руку...

Никакого отклика. Сидит себе в темноте, в углу на кухне, и прислушивается ко мне, ко всякому моему движению и дыханию.

А я-то перед ней распинался! Собаки, восклицал, честнее людей и ничего не таят за спиной, не в силах таить. Они даны не в службу и не в дружбу людям, а в знак назидания. Собака нравственный образец и положительный герой, которого я опознал и привлек в литературу — единственный раз за всю мою недобрую жизнь. Бери, говорил, пример с собаки...

И не почесалась. Молчит, как сыч, у себя под столом, и чего-то ждет. Где-то она мне явно не доверяла. Или унюхала смерть, ходившую за мной по пятам? Читала в душе? Предчувствовала будущее?..

— Уймись! Не преувеличивай собаку! — сказал я себе в ободрение. — Не уподобляйся. Это плохо кончается — ты же знаешь...

Здесь же, не включая огня, ощупью, открыл черный ход — во двор, на помойку, откуда она приволоклась однажды. Сама, никто не звал. Взревел не своим голосом:

— Пошла прочь, бестия! Путь открыт! Ищи себе другое пристанище. Беги от греха, пока не поздно. Уйди от беды, собака...

Нет, я ее не выгонял. Я выпустил подлую тварь на волю: пускай живет...

С черного хода дохнуло свежим воздухом. Холодом. Осенью. Талым снегом. Так я ни разу с ней и не погулял... Исчезла она или нет, — во тьме не разглядеть. Скорее всего, исчезла, испарилась, как тать в ночи, неслышно и бесследно, поджав хвост, не оглядываясь, — в ночь, откуда пришла, в дождь, к чор-

ту, лишь бы от меня подальше...

Я скинул ботинки каким-то брезгливым движением ноги и только потом пальто. Потряс башкой, выбивая одурь, так что застучали зубы. Прокрался бочком в уборную и осторожно помочился в знакомом направлении. Выпил воды. Любой завиток в нашем доме я помнил и определял наугад. Ноги промокли, а лоб и щеки горели, и я не мог согласовать поначалу — тепло мне или холодно. Казалось, пот закипает в корнях волос. И, не сговариваясь, — озноб...

Не сбежала бы собака, потянулась бы уютно, зевнула, ткнулась бы слюнявой пастью, мокрым носом в распростертую ладонь, и я бы улегся, без разговоров, около нее, требухой. Кости просились. Спина постанывала улечься тут же, рядом с собакой, на кухонном полу, не откладывая в долгий ящик. Прижаться бы лбом к пластиковой поверхности: ты тоже — мать-материя, неотделимая от сына, пускай и химикат!.. И та же собака положит голову на твою плоскую ногу...

Хорошо лежать на полу и ни о чем не ду-

мать. А то, бывало, пристроишь локоток поудобнее, приладишь к подбородку немного под углом, свободно расправишь конечности, обопрешься о тот локоток, так уже и барин. И снова ночь будет полна бумаги и огня. Рассеянных по полу, до потолка, исчерна-белых листков...

В ушах — колокола. Но это гудел холодильник, подаренный дядей Володей. Работает, как нанятый. Никто его не просит, никто о нем не заботится, а он все равно работает, с четкостью краснофлотца, изо всех сил. Я вдруг почувствовал жалость и уважение к холодильнику. Вот с кого берите положительный пример — с холодильника! Уж он-то не подведет, не обманет...

Электричества, однако, я так и не включал — по причине тараканов. С маминого отъезда их расплодилось у плиты... Боже ты мой! Какая все-таки жизнь кипит рядом с нами. Невидимая, безобидная жизнь, собачья и тараканья, тем более удивительная, что она от нас не зависит и как бы удалена в пространстве, хотя и связана вместе. Куда бы они делись без

нас?! Мы их, конечно, периодически казним, но тем не менее поддерживаем сам факт существования таракана. Невольно кормим, обогреваем. Выйдешь ночью поставить чайник, а их высыпало передовыми отрядами, сверкая латами, касками... Зачем они собрались? На митинг? На диспут? И ретируются беззвучно при лампочке куда-то по углам, будто и нет их, едва ты ступишь на кухню...

Или тараканы чувствуют на себе пристальный взгляд писателя — при одном инстинктивном движении смахнуть со стены и прихлопнуть? При одной лишь мысли — прыгают и разбегаются! Но тогда — обоюдный страх и двойное опасение. Либо мозг у него так тонко организован, что одна случайная мысль уже сходит за убийство, настолько она отвратительна и груба для таракана? Либо, во-вторых, умея проникать пути истории на долю раньше и читая в людских сердцах, как по книге, они берут уже власть над нами?..

Вот почему на сей раз я огня не зажигал и обошелся без света: вернее. Не бойтесь, тараканы, — меня нет! В самом деле успокаивает,

как вспомнишь, что лет через сто, в крайнем случае через двести, тебя не будет. И все белье порастет. Забудется. Изгладится из памяти. Покроется туманом. Ищи-свищи тогда, мама, свою Крошку Цорес!..

Задумался и прожег дырку на брюках в темноте от сигареты. А брюки-то у меня одни. Одни на всю жизнь. Так бывает: за два часа прошло, может быть, пять минут или того меньше. Считанное время. Помолиться не успеешь. И пальцы уже не складываются в неверное троеперстие...

Тихо разоблачился и лег. Нет, не лег, а бросился в постель, в бельё, как бросаются в холодную воду. Но это правильно: сразу и с концами. А кроме того, стоит спокойно прилечь, как меня сверху бьет кашель. На этот раз обошлось. Запрытался под одеяло. Согрелся. Закрыв глаза, как будто сплю. Помогло на первой ступени. Но видения с лестничной клетки настигали и здесь. Мама шла на меня, расставив крылья и бессмысленно шепча:

— Уйди! Пощади! Оставь пятого! Пожалей щенят!..

Словно у нее за спиной, за крепкой, дубовой дверью, скрывался не всемогущий вельможа, а маленький, как я, мальчик... Она шла, а я отступал со ступеньки на ступеньку, пока, не выдержав ее палящего взгляда, не сверзился в пролет, с лестницы, и не очнулся в тепле, у себя под одеялом.

Ой, наконец-то сон! Меня трясло...

Во сне собака царапалась и скреблась с черного хода — обратно. " — Это ты, Дора?" — спросил я во сне. " — Сейчас встану". — Царапается. " — Это ты, мама?" — спросил я вторично, хотя уже сознавал, что это не Дора и не мама скребется, а собака, которую я прогнал, просится назад, в дом, с черного хода. " — Сейчас открою!.." Но почему-то не вставал, а все надеялся и жаждал ее возвращения, и сам же себя одергивал: ну ладно — нервы! Сколько можно все время, непередаваемо, дрожать?... Заснул бы с удовольствием, да ногу сводит...

А между тем я не знаю другого определения прозы, кроме как дрожание какого-то колокольчика в небе, не говоря уже о стихах. Знаете, как бывает, все кончено, но дрожит

колокольчик, и это необъяснимо, но доносится издалека, с того конца света... С тех пор, когда мне теперь присылают рассказ на рецензию, либо стихотворение, я спрашиваю себя, прочитав, прежде чем дать отзыв: слышен ли колокольчик? дрожит ли струна в синеве? или это просто так, от ума, от нечего делать, от эмоций?... И — точка в точку...

— Чорт! чорт! чорт! чорт! — кричала она в лицо, наступая на меня, и корчила рожи, чтобы напугать, примечая, должно быть, во мне что-то черное и другое, чем был я и что я есть на самом деле. И я недоумевал, я обижался на маму и снова и снова кидался ей под ноги с мольбой внимательнее, еще раз, присмотреться ко мне, разве похож я на то, за кого она меня принимает. И в то же время, по какому-то наущению, не мог сдвинуться с места, разделяя ее горькое право бросать мне в лицо ругательство.

— Чорт! чорт! чорт! — выкрикивала она, ревнуя и беснуясь, каждым новым словом вколачивая меня назад, в черноту, откуда я вышел и которой бежал и страшился, зная за

собой эту черту и незадачу досаждают и мучить одним своим присутствием. — Уходи, уходи! сию же секунду!..

Господь спас: проснулся.

Лишь под утро меня посетила картина, похожая на что-то реальное и сулившая, быть может, спасение от ночного хоровода. Я немного задремал и увидел подобие веселой лесной лужайки, по которой прогуливалась то ли стройная девушка, то ли, как это ни странно, собака высокой породы и вместе с тем красавица, каких мало. В длинном мохнатом платье, в ошейнике и на цепочке, она медленно брела впереди сказочного мужика в шубе, бородатого, с толстым лицом, при виде которого вы сразу вспоминаете, что есть еще злодеи на свете, готовые помыкать единственным по благородству и грациозности созданием. Он грубо прикрикнул на нее, дернул за цепочку и замахнулся кнутовищем за какую-то, должно быть, перед ним провинность, и та заметалась, и вдруг сорвалась с поводка, и ринулась по дереву вверх, как это делают горностаи, уносясь от погони охотника. Но что еще

непостижимее, взбегая по веткам, словно по лестнице, она скидывала вихрем крутившееся на ней платье и, блеснув отчаянной, солнечной наготой, вмиг достигла вершины, откуда и взлетела, махнув крыльями, птицей. Это длилось всего несколько мгновений, и птица, ускользнувшая в небо, была естественным продолжением вихря, с каким беглянка выкручивалась из облетающих с ее тела одежд, а также — увенчанием дерева, высоченного, островерхого и как будто предназначенного служить взлетной дорожкой. Мужик с бранью кинулся было за девушкой и ловко пополз по стволу, тоже сбрасывая попутно стеснительный кафтан, но неувереннее и тяжелее в движениях, и на полдороге застрял — как птица снялась с ветки...

Как я был за нее рад! Вот, подумал утром, и мы, даст Бог, избавимся от рабства, от цепей зла, которое причиняем по кругу, сами не желая того, — и я, и мама, и Володя, и собака... К чему эти личные счета, поиски виновного? Каждый достоин, чтобы его отвергли. И каждый — чтобы обнять... Как мало нам

нужно. Бывает, действительно, приснится что-нибудь светлое, пускай непонятно что, и ты уже кум королю, поёшь и строишь прогнозы, и думаешь: улечу! улечу! и бедам конец!

Но сон, увы, был не в руку — во всяком случае на данном повороте истории. И мама, сколько тогда не отгоняла меня от дверей, так и не укрыла питомца от черного моего пришествия. Бывший персональный шофер Лихошерстов, по старой памяти, заехал ко мне через месяц за маминым останним тряпьем. От шофера-то и дошло в подробностях, как было дело.

Едва мама, спровадив меня с площадки, вернулась к столу, в обитель дяди Володи, тот с вопросами: кто приходил, да почему, да как? Напрасно она заплеталась — дескать, ошиблись этажами. Подозревая неладное, телефнул дежурной вниз.

— Что?! Крошка Цорес? И ты его не пустила? Выгнала? Моего брата? Своего сына? От именинного пирога? Да я его приглашаю! Требую! За стол!

Словом, Содом и Гоморра в доме. Мама

в эту минуту и сама была не рада обману. Властный человек общесоюзного значения, как был, без пиджака и шляпы, кинулся меня воротить. Не ведаю зачем, — прихоть самодура, голос ли крови, чувство ли какой-то проснувшейся вины передо мной, или он кому-то доказывал, что, невзирая на высоту и почет, он остался в доску своим парнем, простым и отзывчивым, как все люди его поля, — но, забыв о предрассудках, Владимир трубил на весь подъезд:

— Крошка Цорес! Куда ты пропал? Прошу к столу!..

Меня же и след простыл. И этим, не входя к нему и не видя, я вынес брату заочно смертный приговор. Как бык, он пересек вестибюль, выскочил на улицу, туда-сюда, что-то ему, по-видимому, стрельнуло в голову, и, минуя светофоры, он бросился за кем-то бегом, наперерез движению. Здесь-то его и сшибло мчавшимся по кольцу самосвалом...

— А парня теперь засудят, — сказал меланхолично шофер, укладывая манатки.

— Какого парня? — не понял я.

— Да водителя машины. Еще бы — угробить такую фигуру! Как простого работягу. Могут, если захотят, и политику намотать. А вот вы сами, гражданин, хоть вам лично, может быть, неприятно за брата, признайтесь по-честному: чем виноват водитель? На такой скорости тормозить? Вы думаете, там один самосвал? Да в него бы задние врезались. На зеленый свет!..

... С мамой, в итоге, мы больше не встречались. И я не пошел проводить ее на кладбище, когда, год спустя, она тихо опочила. Прямо скажу, я боялся контакта с ее внучатами, с невесткой. Не было силы характера им противостоять. Да и хотел все-таки, чтобы они остались в живых... Щенята эти мне в некотором роде племянники.





Однажды иду по Новому Арбату и вижу Дору. Не вторую Дору, в которую по глупости, по молодости лет был когда-то влюблен, а первую — добрую фею, Дору Александровну. На сей раз она возвышалась в бакалейном отделе громадного, на всю Москву, продуктового универмага и взвешивала кому-то конфеты своей фарфоровой ручкой, а кому-то муку. Она ни капли не изменилась. Даже, по-моему, еще больше помолодела рядом с моими о ней ранними воспоминаниями, или, быть может, сам я к тому моменту уже сильно постарел. Но внутренний голос подсказывал, что это она, она самая — Дора, в прошлом врач-педиатр, а ныне разбитная, изящная продавщица в магазине.

Сначала я изучал ее с проспекта, на расстоянии, сквозь толстую витрину, с каждым ее бесподобным жестом убеждаясь в истинности своего открытия, а затем, набравшись храбрости, незаметно вошел... Чего там только не было! Золотые мандарины. Шпроты. Колбасы навалом. Охотничьи сосиски. Вина всех стран и всех сортов, в разнокалиберных бутылках, в специальной для такой тары оборудованной под дуб секции — визави, между прочим, заветного отделения, где кружилась на подмостках, над мылом и солью, прекрасная моя искусительница...

Не знаю, улыбалось ли вам счастье, господа, видеть подобные горы съестного и спиртного в свободное время дня, когда народу не так уж много, чтобы помешать вам рассмотреть все собранное здесь с толком и с расстановкой. Но даже если вы смотрите на эту панораму каждый Божий день, вы не поймете и не оцените, о чем я толкую, и сказочные богатства, разложенные под стеклом и выстроенные вдоль стен, до неба, в форме колонн, мавзолеев, восточных гротов, портиков, дворцов

и карфагенов, сложенных из плиток сливочного масла, банок с вареньем, ванильных сухарей, корицы, яиц и прочих пряностей, рисуются вам чем-то банальным и заурядным, а может быть, и незавидным по сравнению с тем, что вам случалось иногда разглядывать за границей или вкушать до революции. Другое дело, конечно, если вы приехали из деревни или заштатного городка, куда из центра доходят разве что газеты и радио и откуда большие столичные гастрономы, набитые до отказа продуктами — хоть сто лет покупай, не укупите, — притягивают волны мечтательных провинциалов. Тогда вам будут даны глаза, язык и руки, чтобы это изобразить более достойно и выпукло, чтобы видеть и осязать, запихивая в мешки, рассовывая по сумкам, драть горло, грозить членовредительством за лишний килограмм ветчины, снова и снова разменивая зашитые в трусы, запрятанные под подкладку и в бюстгальтеры червонцы, — на потеху толсторожим московским живоглотам и на радость крылатым карманникам.

Но представьте себе человека иного полета,

у которого за душой ни отца, ни матери, ни города, ни деревни, который как будто и не пробовал вовек всех этих деликатесов, а только читал о них раньше в каких-нибудь старинных романах. Голод его утолила бы обыкновенная булка, из тех, что в былые времена назывались "французскими", а по-новому — "городские". Но он о той и не помнит. Он ходит от прилавка к прилавку, сытый, мнится, одними ядовитыми запахами сыров, тошнотворной вонью мясного и рыбного ряда, глубоким, до обморока, ароматом молотого кофе, нежной, горьковатой пылью расфасованного сахара. Вы скажете, что сахар не пахнет? А вы принюхайтесь, принюхайтесь!..

Не подумайте, однако, что, увлекшись роскошной едой, я позабыл о цели моего захода, о Доре. Нет, она и была царицей бала и гением этих мест, служивших ей великолепным обрамлением. Краем глаза я не уставал следить за ее голубым фартуком и кружевной наколкой, которая порхала над сценой, как белый мотылек. Очереди к ней в бакалею не было, и, потоптавшись вокруг да около, я

решился приблизиться. И то сперва, для приличия, не подымая глаз, рассматривал этикетки и марки чая, выставленного в нижнем отсеке в радужных обложках. «Грузинский — Экстра», «Краснодарский — Второй сорт», «Китайский», «Индийский» и даже «Цейлонский»?.. Хорошо живем!

Никто не расхватывал и не толкался. Коробочки с чаем стояли, как школьницы на выпускном экзамене, нарядные, розовощекие и ждавшие, единственно, какую отметку им выведут по алгебре и по географии... Чай благоуханный, целебный, запретный, спасающий от цынги, от туберкулеза, вяжущий десны, обладающий душой горячим, красным наваром, заставляющий сердце работать бесперебойно, как часы, чай, отмеряемый по крупинкам и возведенный до крепости рома, до густейшего желе, которое лучше всего заедать, я вам открою, кусочком соленой селедочки, чай равный валенкам, ватным брюкам, сапогам, свитерам, пущенным в кружку с той же непринужденностью, с какою мудрец Аденауэр променял экипировку на пять пачек чая, чай,

сколачивающий капиталы, делающий карьеру, а кое-кому стоивший головы, — здесь отпускался в одни руки без ограничений, по баснословно низкой цене...

— Что вы хотите, папаша? — послышался мелодический голос, который когда-то давно спросил меня: "Что ты хочешь, мальчик? Чего ты плачешь?" От сладостных пачек чая, игравших роль увертюры к этому высокому голосу, я оторвался и встретился глазами, лицом к лицу, с бакалейщицей, парившей надо мной, подобно птице, которая улетела во сне, а теперь нисходила на землю в облике чудесной блондинки. Ей было, казалось, лет семнадцать, не старше. И глядеть в упор на нее, на эти вечно цветущие, сияющие лучами черты, было так же нестерпимо, как мы не можем смотреть на солнце, хотя только и тянемся к нему, и грезим, и горим этим светом. Так бывает, я помню, в юности, когда боишься оскорбить возлюбленную взглядом, признанием, и каждый твой шаг или слово по направлению к ней кажется нескромным, порочным, так что, в результате, она и уплывает от вас с каким-ни-

будь настойчивым и внушительным проходцем. И пускай с тех пор, за годы испытаний, я подвинулся в жизненном опыте, поумнел, задубел и развился, я вновь был способен провалиться под землю перед этой девочкой, вытеснявшей меня из воздуха одним своим невинным видом и царственным нажатием вопрошающего лица. Сознавала ли она, что со мною происходит, что я съеживаюсь в комок, растворяюсь, девальвируюсь, превращаясь в больного, беспомощного ребенка, каким лежал перед нею, сорок с лишним лет назад, голышом, в моей скрипучей кровати? О, она делала вид, будто не понимает и меня не узнает, и порхала по плантации, вращая туда и сюда, в разные стороны, своей фаянсовой ручкой, похожей на дудочку чайника, изогнутую в готовности излить для вас восхитительный напиток... И ни следа заикания с нашей последней и первой встречи.

— Что вы хотите, папаша? — повторила она музыкально и повела перламутровым пальчиком по всему саду — на сахар и на чай в заморских этикетках, на перец и на вермишель.

Жест ее был исполнен, если хотите, грации Венеры Медицейской или кого-нибудь еще в том же роде.

— Да вот чаёк, дочка, смотрю какой выбрать — позаваристее, — отвечал я, почему-то по-стариковски пришепетывая, на манер простака-крестьянина из глубокой Чухломы.

— Советую «Цейлонский», папаша!

— Спасибо, дочка! «Цейлонский» — это нам подходяще... А вы сами случайно не с Цейлона будете? Али откуда-нибудь подальше?..

И, собравшись с духом, — смотрю. Ну просто режу взглядом: неужто не она?!.. Она! В ее громадных глазах плескались две, нет, целых три золотых рыбки... Вы, быть может, удивитесь: почему — три, а не две? Ах, наивные люди! Да потому, что у нее, у Доры, были такие глаза, такие глаза, что порою они выплескивались на все лицо и там играли, как три золотые рыбки...

— Ну, Крошка Цорес, — сказала она, отсмеявшись, — что еще сочинишь? И чего тебе надобно, старче? Давно от хозяина? Вчистую?

— Вчистую, — говорю. — Прямо с вокзала. Ни кола, ни двора. А надо мне, Дора Александровна, от вас одну вещь. Кто мой отец? И откуда мои злодеяния, за которые я и сам частично поплатился? Почему, — спрашиваю, — желая добра, я всем приношу горе? И нельзя ли к свеженазванному вопросу добавить одну просьбу и вернуть, если надо, назад мое старое заикание, мою детскую немоту и бессилие, только чтобы я жил не тужил, как все нормальные люди, никому не причиняя сугубых неприятностей?..

— Ой! — восклицает Дора, — сколько вопросов! Прямо целая книга жалоб и предложений, которая хранится у нас в кассе! Раньше, однако, ты был мальчик поскромнее. А с возрастом... Подожди, — говорит, — сначала отпущу покупателя. Вишь, их, собак, набралось, словно три дня не жрамши... Вам что, гражданочка, полкило макарон?..

И снова залетала, как молния, взад-вперед по прилавку. Я отошел и люблюсь, как ловко она справляется со своей одинокой ролью. Это был просто какой-то испанский танец

продавщицы, обслуживающей нетерпеливую публику. Все тянут к ней чеки, корзины, бутылки из-под масла. — Минуточку, товарищи! Не все сразу!” — огрызается она. Но чем внимательнее следил я за линиями ее воздушных фигур, связанных одновременно с россыпью по воздуху редких бакалейных изделий, тем очевиднее становилось, что, танцуя и торгуя, Дора не перестает разговаривать со мною по-свойски, наподобие небожителей, путем кивков и намеков, пространных иносказаний и символов, в точности которых невозможно сомневаться. То соль кому-то преподнесет на ладошке, с едва заметной усмешкой, то, воздев сосуд над головой, протягивает зрителям оливковое масло, а то, сделав курбет, держит уже папиросы в пальцах, класса люкс, с таинственной транскрипцией: «Гецеговина Флор»! Это надо понимать!..

Но, странное дело, я усекаю, что скандальная толпа покупателей ничуть не протестует, когда волшебница раздавала снадобья, не считаясь с заявкой, по собственному почину и выбору, в гармонии с немymi сигналами,

обращенными не к ним, а ко мне. И каждый с благодарностью уволакивал то, что ему досталось, прижимая к сердцу. Или она управляла с помощью телодвижений и завораживала толпу? Или они, как мелкая советская челядь, работали у нее на подхвате, в качестве статистов, содействуя языку пантомимы, каким эта женщина-фея мгновенно объяснялась со мной, бедным своим клиентом?..

Во всяком случае, смотрю: экая проекция! что за оказия такая? — накладывает какой-то старушке полную авоську дрожжей и делает ей подбородком поворот: мотай, мол, отсюда, старая, пока не отобрали. Но ведь это же, господа, означает поставленный мне ультиматум или, мягко говоря, историческую альтернативу, приняв которую, я смею на что-то надеяться, в том смысле, что Дора ответит, быть может, на мой вопрос. Вы только вдумайтесь: дрожжи! дрожжи! как условие разгадки... Дрожжи, всем известно, еще в древней Греции предполагали пироги с начинкой, пир горой, свадьбу, хмель, алкогольный аппарат в собственном доме... И в том, как она,

снопом, положила эти дрожжи, было что-то угрожающее и вместе с тем зовущее радостно под ее белую руку. Как если бы Дора сказала: "Берегись! Осчастливорю! Женись на мне, тогда узнаешь. И свадьбу сыграем сегодня же ночью! Решай!.."

Я просто рот раскрыл от удивления и глазам не верю. То есть как это, думаю, понимать прикажете, Дора Александровна? Не в виде ли какого-нибудь мимолетного намека на брак? Не в плане ли вашей насмешки судьбы и воли, извините, выйти за меня замуж? За меня? А она отвечает «да», делая па ножкой в знак согласия, чтобы я лучше почувствовал. И тут же, рассердясь, сыплет какие-то специи в конверт очередному постояльцу. Дескать: много будешь рассуждать, прикидывать, я тебе и не такого еще в пирог подсыплю. И впрямь, если женщина предлагает вас осчастливить, грех в этом сомневаться и опасно не доверять... Ну, говорю себе, Крошка Цорес, ты попал в цейтнот!..

Жениться я был не против, но давно уже об этом не думал. Девицы с детства бегали

от меня, как от чумы. За Дору же Александровну мог быть спокоен. Такая дама! Какое особое зло я сумел бы ей причинить? Да она любого чорта, кого хотите, за пояс заткнет. Конечно, я староват для нее. И лицом не вышел. Осанкой. Обтрепался. И для семейной жизни нет сейчас у меня необходимой перспективы: ни постоянной зарплаты, ни жилища, ни прописки... Где и на какие шиши, спрашивается, свадьбу играть?..

И в ту же секунду, представьте, она снова поводит по сторонам своей чарующей ручкой, как заправская балерина, будто отмахивается от мухи, и показывает на залу, полную несметных сокровищ. Эге-ге, смекаю, да у нее, небось, вся милиция на корню куплена. Горсовет. Прокуратура. Сахара, крупы, муки — куры не клюют... А стоило мне взгрустнуть, откуда мы гостей позовем на вечернее пирование? — ведь ни единой живой души в Москве у меня не осталось, как Дора Александровна выкладывает кому-то в газетку пять брусков мыла. Примечай, Синявский: мыло это или чего-нибудь еще? Но что оно, собою обозначает,

это мыло, я так и не распознал...

Однако повеселел, как и подобает жениху, и начал даже пританцовывать одной ножкой. Знай наших! Ведь если я на Доре женюсь, и стол и дом у меня в ажуре. Скажу утром: Дорочка, приготовь мне на завтрак, пожалуйста, свиную-отбивную. Нет, закажи бычки в маринаде. Нет, всего лучше смастери-ка мне яичницу-глазунью — из двух яиц с гренками... Или прилетит к вечеру на крыльях любви из своей бакалеи, с полной кошелкой, и все мои злые мысли, скорби и недуги улетят, как мотыльки.

Вижу, и весь гастроном как-то оживился. Люстру зажгли. Народу прибавилось. Не то, чтобы танцуют, а появилось что-то ритмическое, вразумительное в лицах. Играют плечами, притоптывают, подмигивают. Кто-то негромко запел под аккордеон: "Имел бы я золотые горы и реки полные вина..." То ли моя богиня их окончательно околдовала своими свадебными пассажами? То ли голова у меня немного кружилась от голода? От счастья? От блаженного сознания, что спадает, спадает

заклятие, лежавшее так долго на мне, словно какое-то ярмо?

Да, я подумал, в пляске, в песне всякий человек очищается, избавляясь от себя, выходя из тела, из тлена куда-то выше, как это делали в древности. Очистительное значение ритма известно Доре, которая, распределяя ходкий товар по Москве, помнит о поэзии и в точном соединении с ней плавными движениями снимает чары и страхи. Чары — смерти, страхи — перед жизнью, перед собственным моим, нестерпимым, первородным лицом... Люди-братья, мысленно говорю, расставив руки, а что если на всех континентах, чтобы нам заплатили или подали копейку, мы стоим, как христы, все вровень, и никого не пропускаем? А может быть, венчальный обряд сейчас-то и совершается? Может быть, мы не в магазине стоим, а в церкви на самом деле? В церкви, в древнем соборе, где фея своими руками врачует и венчает на царство обнищавшего жениха...

Словом, я настолько вознесся и обнаглел в своих глазах, что, кинув наблюдательный

пост, подошел к бакалее без очереди и:

— Хозяйка! — обратился. — Умоляю вас, не забудьте подбросить, лично для меня, прихожанам к празднику — лаврового листа...

— Ишь ты чего захотел! — погрозила она пальцем. — Лавровый лист, гражданин, давно кончился. Не хотите ли — перец? Или — тмин?..

И три золотые рыбки сверкнули и уплыли. Дора Александровна посмотрела на меня со значением и как-то печально улыбнулась...

...Но вернемся к дальнейшему. А дальше пошли чудеса на колесах, форменные чудеса на колесах. Прикатываем к ней, к жене то есть, прямо в хату. Ничего себе, жить можно: однокомнатная квартира с совмещенным санузелом. Все просто и даже скромно. Никакой роскоши. Никаких этих зеркальных трюмо, финтифлюшек, подушечек. На мужскую ногу. Только, вижу, шкафчик стоит! Я как его заприметил, так сразу и влюбился. Невообразимый шкафчик! Он теперь у меня до сих пор находится, хотя с того момента я двадцать раз успел переехать и много чего было потом в моей жизни. Но шкафчик этот — при мне.

Давайте для начала, для ясности, я его опишу словами, чтобы он существовал. Представьте: книжный шкаф, орехового дерева, на четырех ножках. Но как все это вместе изобретено и устроено! Прижатый к стене, плашмя, высокой и тонкой спиной, где искрились застекленные книги в золоченных переплетах. А ниже, ниже пояса, выдающееся на полметра вперед, кособокое бюро с крышкой — на два горизонтальных, под орехом, отделения. Для бумаг или, если хотите, рукописей, черновиков-беловиков, это шкафиково брюшко необыкновенно удобно. А еще ниже — и это самое важное в нем — витые ножки, довольно длинные и необычные для шкафа, но и поэтому довольно коротенькие по сравнению с туловищем. В целом же он походил на суслика в степи, присевшего на задние лапы, задрав передние, чтобы лучше обозревать все, что творится впереди, за песками. Однако, в этом сравнении, у суслика должно быть не четыре ножки, а все шесть. Оттого что этот шкафик присел и приподнялся на четырех конечностях, а две верхние как будто отсутствуют...

— Так ведь это же, — говорю, — Дорочка, серебряная моя фея, ведь это, может быть, сам Эрнест-Теодор-Амадей Гофман, на четырех ножках, у нас в гостях! И в особенности — Амадей! Нет, скажи, ты сознаешь, ты понимаешь, что значит этот шкафик в моей жизни?!..

— Понимаю, — отвечает. — Так уж и быть. Это тебе мое приданое, Крошка Цорес. Смотри, не вздумай кому-нибудь продать... Но отвлечись от шкафика и погляди вокруг...

Оглядываюсь. Ничего особенного. Однокомнатная квартира с совмещенным санузлом. Ах, да, — вспоминаю: весьма возможно, Дора Александровна имеет в виду себя — вокруг. Каждая женщина создана, чтобы на нее реагировали. Естественно, к ней. Обнимаю за талию и стремлюсь поцеловать. Жена она мне, в конце-то концов, или нет?.. — Дора! — говорю с ударением и нащупываю пуговку, как меня научили, еще в школе, хулиганы. Что поделаешь? Фривольность с моей стороны, конечно...

— Ты что? Обалдел? — вырывается она и отбрасывает мою руку, будто какую-нибудь

игрушку. — Муж — объелся груш! Нельзя же так буквально! Не лапай...

И ставит меня этими словами на место. Продавщица в магазине: что с нее взять? С кем связался?.. Видать, сказки рассказывают: женщины, мол, отнекиваются, для того чтобы их лучше просили. Как артисты. «Ах, ах, я сегодня не в голосе!..»

Делаю вид, что я обескуражен. А в голове параллельно развивается интересный сюжет. Мне-то что? Даже лучше. Не надо — так не надо. Тоже мне — Лиля Брик! И назад — к шкафику. Вот он-то меня поймет. Гофмановские ножки. Крышка — сникший пюпитр, в резном переплете. Книги, которые никогда не открывал. И в том, что не открывал, — вся прелесть. Всё впереди еще. Витое дерево. И смотрит по-ореховому. Стоит, как вкопанный, и смотрит. Идол! — как вы его назовете по-другому? Родной идол в доме!

И слышу, сзади, чайник запеваает уже свою вечернюю песню. Высвистывает носиком. Книжки в шкафике, с позолоченными корешками, и чайник. Чего еще?..

Не успел я мечту развернуть, мысль кончить, а Дора тут как тут. Как вдарит по клавишам:

— Ладно, — говорит. — Горбатого не испортишь. Откровенно, Цорес: тебе кто дороже — я или чайник? Я — или книги? Только — откровенно...

Падаю перед ней мысленно на колени. Целую подол платья (тоже мысленно):

— Ну, разумеется, вы, Дора Александровна! Другой коленкор! Вы, вы — и никто больше. А книги — тьфу! Ну их, книги! Обойдусь! Бывали в истории казусы, когда никаких книг не читали и не писали. Вот таким макаром... Во-вторых...

А что во-первых? — я уже забыл.

— Во-вторых, у вас (показываю пальцем) там, быть может, «Робинзон Крузо» скрывается. «Остров сокровищ». А здесь (тоже показываю): «Тысяча и одна ночь». Но как все это написать и прочитать? Времени не хватит. Ведь над одной книгой, бывало, сидишь, перелистывая, всю жизнь. И если я в день чего-нибудь не сочиню, так я уже больной, Дора. Физически ощущаю эту недостачу и пробел в истории.

А напишешь фразу — так все уже облеглось, успокоилось и так легко, легко...

Она слушала меня, подперев щечку рукой, пригорюнившись, как русская баба. Вздыхала. Не за себя, за меня. Чем она могла мне помочь? Устроила покой и комфорт. Удостоила обстановки... А на кухне чайник все запекает и запекает. И шкафчик стоит и не двигается, поблескивая стеклами. Наденем халат для теплоты жизни и начнем читать...

— Ты вылитый отец, — говорит. — Тоже всю жизнь, без пользы, на бумагу променял. Маму довел до точки. До того, что тебя родила...

— Отец?! — я встрепенулся. — Где?!.. Кто?!.. Вы же обещали!..

Ткнула в бок локотком. Пчела. Настоящая пчела. Которая излечивает своими укусами. Дескать, не будь рохлей и возьми глаза в руки. Да не там, а здесь... Тепло, холодно, холодно, тепло, еще теплее... Жарко! Шкафик, позади меня, тоже привстал на задние лапки и смотрит с удивлением. Я вгляделся.

Посреди комнаты длинный стол накрыт на

пять, нет, считая по пальцам, на семь персон. Пустые стулья. Ну всякая там водка-закуска в центре. Цветы. Графинчик с чем-то красным. Вилки. Тарелки. Ноздри щекочет запах чего-то мясного...

— Садись и перекуси с дороги. Вторые сутки, поди, не ел... Ну тряхнем стариной!

И наливает вино в прозрачную, как вода, рюмку.

Существуют же на земле такие старинные вина с легким оттенком. Выпьешь одну, другую, а голова — светлая. Третью, четвертую. Все равно светло в голове. Пятую. Шестую. Вскакиваешь на коня, и поскакали, поскакали. Доброе винцо!

Однако скакать нам некуда. И никакие гости не едут. Кроме наших с Дорой двух генеральных стульев, пять оставались не занятыми. Томительно это пить и есть перед пустыми стульями...

— Да ты получше взглядишь, — накачивает она. А сама так и впилась очами. Как будто что-то, действительно, видит перед собой или строит из воздуха образы... И, в самом деле,

— сначала не в фокусе, а после немного яснее — вырисовываются тела и какие-то лица за столом. Но контуры теряются, тонут, жухнут, ползут, и необходимо усилие, чтобы зрительно закрепить.

— Только прошу тебя, не шуми, если кого-нибудь узнаешь, — предупреждает она. — И не вскакивай с места. Не бросайся. Все равно они тебя не услышат и не увидят... Смотри! тебе говорят — смотри!

Смотрю. На пяти стульях сидят пять моих братьев и между собою выпивают. Качают головами, как китайские болванчики. И вот уже расплылось. А у меня язык прилип к задней гортани.

— Так что они — живы? — шепчу. — Живы и не убиты? И, значит, я не виноват?..

— Какое это имеет значение? — отвечает. — Виноват, не виноват? Все в чем-то виновны...

— А мама и папа где? Где-то здесь, между нами?!..

Дора Александровна прикладывает палец к устам. Слов не произносит, но до меня доносится: отец и мать ушли далеко от нас, слыш-

ком далеко, и уже не придут. Одна — путем страданий. Другой...

— Да ты не волнуйся! — себя же перебивает она. — Братья — тут и никуда не денутся. Можешь спокойно доесть свой пирог. Бери, наливай, что хочешь. Никто и не заметит!

Но доедать я уже не стал. Выпил залпом 200 грамм, чтобы соответствовать действительности, и устался на стулья. В глазах прояснилось и выкристаллизовалось. Пять братьев, точная копия, — Николай, Павел, Василий, Яков и Владимир — восседали, рукой подать, за столом и говорили обо мне. Слова их до меня доходили, правда, с большим опозданием, с трудом, сквозь плотную переборку, то громче, а то ничего не слышно. Дора, рядом со мной, как жених с невестой, иногда подсказывала мне и суфлировала.

Открывает рот брат Николай:

—...Из-за меня. Утонул по пьянке. Кинулся в море с корабля за своим пуделем. Так и не нашли. Я нырял, нырял...

— Ты ошибаешься, Коля! — резонно возражает Павел. — Наш братишка сгнил на Колыме.

И все еще надеялся, бедный, что собака его дождется...

— Вот вы сидите здесь и ничего не знаете, — вмешался Яков. — Я его изучал. В нем, я вам скажу, был комплекс неполноценности, что и кончилось ранним инфарктом. На семейной почве. Крошка Цорес не дорос до человека. И наша мать...

— Отец его всему причиной! Отец! — бухнул Владимир, так что посуда пошатнулась. — Если бы не отец, не попал бы он под автобус, как обыкновенный ротозей...

Я — замер. Но дальше они зашевелили, зашевелили губами, делая как рыбы в воде, а слов не разобрать. Повернулся к Доре — пусть усилит громкость говорителя нашим гостям. А она:

— Ты думаешь, они на свадьбу пожаловали? Еще чего! Они пришли справить по тебе поминки. И не делай большие глаза. Пусти!..

И стряхивает салфеткой какие-то крошки с моего стула. Стул-то, смотрю, уже пустой...

— Ты умер. Ты давным давно умер. И тебя — нет, — понимаешь? Раньше, чем родился...

Я ничего не понимал. Из этих речей до меня долетали одни обрывки. Таким образом, в полной форме я не берусь воспроизвести. Мы находились, как бы вам сказать, на грани двух противоположных миров. Я и Дора — с одной стороны пропасти. Пять братьев — с другой.

— Этого отца, — продолжал дядя Володя, — я бы придушил собственными руками. И не дрогнуло бы. Он...

— Причем здесь он? — заступался Яков. — Я знаю, мама ему...

— Да чего там! Декадент. Неженка. В наше время писатель должен быть... (*Василий*).

— Сгнил на Колыме! Повторяю, — на Колыме (*Павел*).

— Нет, нет и нет! (*Николай*). Как муж, он не мог ей уже соответствовать...

— И не соответствовал стране! (*Владимир*).

— Истории!.. Эпохе!.. Такой же точно цорес!.. (*Неясно кто: вразнобой*).

Тут как загрохотали!..

Внезапно все померкло, побледнело у меня перед глазами и поехало вверх. Так бывает

короткое время, когда выпьешь с непривычки. Стены, стаканы, братья на своих стульях неудержимо возносились, продолжая сидеть и беседовать в осуждение меня и отца, — на манер гобелена с ткаными гостями, музыкантами и танцовщиками. Сам же ты обратным поездом медленно сползаешь под пол, находясь, тем не менее, все еще на этом свете, на месте. Постараюсь описать.

Сойдя с автобуса, я брел по обыкновению вверх по Хлебному, к дому № 9, откуда меня изъяли однажды, пятьдесят лет назад, и где, по бывшей прописке, проживали собака и мальчик, едва родившийся у вдовы, с которой мы развелись. То было очередное паломничество на родимое пепелище. Последняя попытка связать концы с концами... Стояла поздняя осень. Падал мокрый снег с дождем и таял, не достигая паперти. Точнее говоря — крупа. Снежинки, по-видимому, не успевали опериться в прозрачные звездные хлопья. Белое крошево мельтешило в воздухе и гасло без пользы. Казалось, снег не падает, а взвигается в вечернее небо, сворачиваясь, как

занавес, на фоне темных домов, которые между тем нескончаемо оседали на землю. Воспаленная мостовая горела нефтью, разливаясь в черное море от Арбатских до Никитских ворот, и ровный оползень зданий, сквозь кисейную занавеску, терялся под ногами, в асфальте, обращаясь в яркую грязь.

Вам случилось наблюдать, вероятно, подобную аберрацию где-нибудь в Америке. Дубовая стойка с барменом, белые чашечки кофе цвета негра, красивые аперитивы на стенде, свисающие вниз крантиком, в виде попугая в клетке, делающего себе из гостей интересное зрелище, — взмывают до потолка. Мы же, ночные птицы, периодически опускаемся. Нижняя половина сознания лифтом скользит ввысь, тогда как вторая, верхняя половина, смежным лифтом, — проваливается. Лишь вакханка на эстраде, острым треугольником бедер, с назидательной галочкой в скобках, своевременно поставленной (как рисуют педантичные учительницы в тетрадках), держит вас на прицеле, по центру, не давая ни воспарить, ни упасть. И вы — сидите...

— Писатель! Уборных стен маратель! — доносилось из-за стола.

Плевать на личные выпады. Мне было дороже не упустить братьев из виду, воссевших судебнo где-то на потолке, покуда они живы, в принципе, и сосчитываются в убийстве. Что касается кабаре в Америке, снегопада на Хлебном, с еле просвечивающим, изумленным отцом в конце сравнения, то представьте себе для ясности эскалатор в московском глубоководном метро. Сегодня, по приезде, я воспользовался удобствами и, помнится, не без робости отвыкшего от Москвы старожилы, ступил на неровную, гофрированную дорожку. Меня потащило вниз...

Навстречу бескровной партией экспонатов подавали по конвейеру, с того света, гостей, в то время как мы погружались в шахту, не вправе размежеваться, ни слиться с параллельным течением, машинально перебирая воздвигавшуюся из недр иерархию высоколобых истуканов с устремленным вперед, настороженно приподнятым профилем, словно только бы не пересечься, не встретиться случайно

с нашим темным потоком, медленно и неуклонно препровождаемым под землю. На следующем витке — кто знает? — мы бы могли сквитаться в положении на ленте, но это как-то не входило в понятия. Каждый держался своей ступеньки, сторонясь противоположной реки. Обменяться глазами, жестом приветствия казалось невероятным.

Исключение составляла, возбуждая интерес, какая-то, должно быть, независимая студентка, почти гимназистка, миловидная, мучительно похожая на ту, которую я потерял когда-то из-за красного словца. Но ту и эту Дору нам уже не замкнуть в один круг. Я обознался. Она плыла вверх по конвейеру, к солнцу, на вольный воздух, что не мешало ей поспешно и страстно отдаваться взглядом каждому встречному, сползающему пассивно вниз по трапу, как в объятия, пассажиру, никого не пропуская и отбрасывая прочь, овладев, ради другого, на скорую руку, знакомства, застрахованная на подъеме от сцен ревности, от сплетни, от клеветы, недоступная, торжествующая, возносящаяся в небо без рис-

ка, с лицом, процеженным реками смертных, которые с нею уже нигде не сойдутся... Когда бы кто из нас, поверив обольщению, ринулся за минутной возлюбленной бегом по эскалатору, тому все равно не успеть пробиться в плотине толпы и наверстать упущенное. Да и пробейся — изменница его бы не признала. Меня-то она вообще, смерив, зачеркнула, как пустое место, коротким, оценивающим движением подбородка. И вдруг — кивнула, улыбнулась, призывно зазвенела девичьим запястьем в браслетках какому-то, очевидно, едущему следом за мной, превосходному кавалеру. Кто же этот счастливчик? — подумал я и невольно покосился. Позади, на самокатной дорожке, никого не было. А она, перевесившись, кивала сверху, смеялась и махала сумкой моему незримому спутнику. И даже крикнула, что-то вроде: ” — Скорее подымайся!.. Встретимся у входа в метро!..” И никто не отозвался...

Я пришел в разум. Все в новобрачной комнате стояло по местам. И шкаф, и потолок, и широкое застолье. В уши тотчас ударили

голоса братьев, как включают передачу. С некоторыми помехами. Опять про меня? про отца? Напрягся. Они скандировали:

— ... Такое же дерьмо.... Слабак..... От него все неприятности..... Искусство, видите ли... Художник, от слова "худо"..... Сапожник..... Безбожник..... Сгнил..... Покончил с собой..... Маниакальный случай..... В желтом доме.... Собака..... Врага народа..... Ждет-пождет..... И правильно его удавили, и правильно..... Иуда..... Утонул..... Какое утонул?.. Самосвалом..... Инфаркт. Чистой воды инфаркт, ручаюсь.....

— Прервись на одну секунду! — сказала Дора и наклонилась ко мне, в новом элегантном пальто и с какой-то миниатюрной сумочкой в перчатках. — Прощай, Крошка Цорес! Я ухожу и не вернусь. Дела. Береги шкафчик. Дослушай эти последние известия. И не ищи меня в бакалее. Я там не работаю...

Ее холодный поцелуй на лбу, как целуют покойника, я пропустил мимо. Был весь внимание:

..... В тюрьму его..... Ну умер, так и

умер..... Одно беспокой..... Выродок....
...Нет, вы знаете, в нем что-то бы.... Нам-
то ку..... За мир во всем ми..... Да здра...
..До сле..... Как прия..... Ну бросила и
бро..... Так быва..... Кто бы мо..... Вы
ду..... Пи..... Рэ..... Ля..... Си....
..... До.....

Вставал рассвет. Никаких гостей, никакой жены за столом. Дора убежала так же бесповоротно, как — нашлась. Один шкафик торчал в углу, приподнявшись на задние ножки. Да валялся пустой стакан. Вилка из-под рыбы. Окно. Скатерть. Я был сокрушенным, разбитым, заикающимся стариком — в меру злым и в меру добрым. Ни отца, ни матери, которую, по-видимому, я свел-таки в могилу. Ни собаки. И только пять братьев, как пять пальцев, темнели на руке, когда я прикрыл стопу написанных за ночь страничек...

1979. Париж



**ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 2 JUILLET 1980
PAR JOSEPH FLOCH
MAITRE-IMPRIMEUR
A MAYENNE**

N° 7216

